

[Polaris]

Валентин
ФРАНЧИЧ



БЕЗУМНЫЙ ЛАМА

Рассказы

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCXXIV



Salamandra P.V.V.

**ВАЛЕНТИН
ФРАНЧИЧ**

БЕЗУМНЫЙ ЛАМА

Рассказы

Salamandra P.V.V.

Франчич В. А.

Безумный лама: Рассказы. Илл. С. Лодыгина, Ф. Коварского. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 130 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCXXIV).

В издание вошли избранные фантастические и приключенческие рассказы поэта и беллетриста В. Франчича (1892-1937). Эти яркие и своеобразные произведения, затерянные на страницах забытых журналов, никогда ранее не были собраны в отдельную книгу и переиздаются впервые. В приложении – переведенный и обработанный Франчичем рассказ У. Стила и рецензия на его посмертно изданный на немецком языке роман.

БЕЗУМНЫЙ ЛАМА

Бесшумно скользят виденья
В моем усталом сознание.
Давно в гробнице забвенья
Последнее воспоминанье.

Я сам лежу в саркофаге, —
На мне узорные ткани, —
Герой позабытой саги,
Погибший на поле брани.

Порой в златотканом дыме
Давно сгоревших желаний
Мелькнет дорогое имя,
Последнее воспоминанье.

Валентин Франчич

МАШИНА МУДРОСТИ

Рассказ будущего

Известный архимиллиардер и общественный деятель, Альберт Иванович Прейс, сидел в своем кабинете и рассеянно чертил карандашом по бумаге, на которой перед этим делал какие-то выкладки.

Случайно вошедшему к нему человеку бросилось бы в глаза растерянное выражение на лице миллиардера и необычайная нервность, с которой рука его, вооруженная карандашом, чертила на бумаге бессмысленные каракули, являвшиеся как бы отражением того хаоса, который бушевал в его сознании.

Для того, чтобы душевное состояние Альберта Ивановича казалось понятным, сделаю некоторое отступление и постараюсь, по мере сил полнее, осветить причины, так повлиявшие на спокойствие миллиардера.

Последние три недели Альберту Ивановичу адски не везло на бирже.

Скупив почти все количество акций богатейшего в мире завода пушек «Марс», затратив на них почти половину своего легендарного капитала, он рассчитывал, и вполне справедливо, на колоссальные барыши.

Но прошло несколько дней, а спрос на бумаги, находившиеся в руках Альберта Ивановича, был очень вял, и, кроме того, в воздухе начинали носиться какие-то неопределенные, но грозные для него слухи о конгрессе мира, который должен был собраться в Париже и на котором будто бы должны были вынести резолюцию о «всеобщем разоружении народов».

Альберт Иванович не придавал этим слухам особенного значения и был уверен, что идея мира так же невозможна в XXV веке, как и в IV, что пока человек способен чувствовать, любить, ненавидеть — война будет естественным и законным явлением в взаимоотношениях народов.

Но слухи росли, множились, а с ними падала стоимость акций «Марс», и все меньше становился спрос.

И вот сегодня утром парижский корреспондент Прейса, которого он специально послал на заседания «конгресса мира», телеграфирует:

— «Резолюция о разоружении народов вынесена. Правительствам всех стран отдан приказ немедленно ликвидировать пушечные и ружейные заводы».

Рука Прейса все еще чертила на бумаге затейливые каракули, когда в кабинет вошел лакей и подал карточку.

Альберт Иванович машинально взял ее, машинально прочел на ней какое-то незнакомое имя, которое моментально затем забыл и сказал:

— Проси.

В кабинет вошел седенький, полный, низенький старичок в длиннополом сюртуке, лоснившемся от жира, с короткими рукавами, из которых выглядывали сомнительной свежести манжеты, в воротничке того же состояния, повязанном ярко-зеленым галстуком, в брюках, настолько коротких, что видны были ушки нечищенных ботинок.

Лицо вошедшего было румяно и плоско, как археологический блин, национальное блюдо дореформенной России, и как две крупинки зернистой икры на этой круглой плоскости сверкали маленькие, черные, пронизательные глазки; нос его напоминал юную картошку, а рот, с алыми, пухлыми губками, всегда открытыми, — полураспустившийся бутон розы.

— Белков, Иван Семенович, — назвал себя вошедший господин.

— Чем могу служить? — спросил Прейс, небрежно пожимая протянутую руку и указывая другой на кресло подле себя.

Пухленький розовый старичок уселся на краешке кресла, кашлянул в кулачок и довольно неуверенно начал:

— Видите ли, я хотел бы сделать вам одно предложение...

— Предложение? — Прейс оглядел костюм гостя, и на лице его изобразилось удивление.

— Да, предложение. Не знаю, как и начать. По вашему лицу видно, что вы принимаете меня за какого-нибудь чудака...

— Нет, зачем же, — протянул миллионер и, взяв со стола ящик с сигарами, предложил гостю.

Старичок дрожащими пальцами взял сигару, закурил и продолжал:

— Постараюсь говорить кратко. У меня изобретение, которое хочу предложить вам. Необычайное изобретение, первое и последнее, какое себе только можно представить. Я изобрел аппарат, при помощи которого даже самый глупый человек делается очень умным, даже гениальным — мыслителем.

— Что?!.. — воскликнул Прейс, вскакивая, — вы изобрели машину мудрости?!

— Вот именно машину мудрости, — вы хорошо выразились, — так и буду теперь называть мой аппарат — «машинной мудрости».

— Но ведь это нелепость, — вышел из себя Альберт Иванович: — в XXV веке таких вещей не изобретают.

— Вы убедитесь, если выслушаете меня до конца, — спокойно возразил старичок.

— Хорошо; продолжайте.

— Мысль есть не что иное, как движение, которое возникает в нашем мозгу, когда мы получаем то или другое впечатление извне. Мысли обладают различной интенсивностью и формой. Простейшая элементарная форма мысли — образы — благодаря логическому свойству нашего сознания автоматически группируются в однородные категории. Не так ли? К сожалению, идеальный логический синтез является достоянием, пока, великих людей, людей с громадной памятью и воображением.

С изобретением моего аппарата каждый может мыслить не хуже, например, Канта или Спинозы.

Как бы ни слабо было логическое свойство ума в так называемых глупцах, как бы ни микроскопически, мизерны были их память и воображение, всякий предмет, всякое впечатление, вызывая в их сознании движение, остается в нем

навсегда. И вот, когда такому глупцу потребуется иметь о чем-нибудь верное, универсальное суждение, ему стоит только нажать особую кнопку в моем аппарате и мельчайшие движения мыслительного процесса, не могущие достигнуть его слабого сознания, целиком будут восприняты моим аппаратом, классифицированы по категориям и занесены на особый лист в виде оригинальных знаков.

Таким образом, даже дурак сможет создать что-нибудь поражающее по глубине и сил мысли.

Я пришел к вам с предложением купить чертежи и изготовить по ним то или иное количество аппаратов. Может быть покойны: доход от продажи «машин мудрости» будет грандиозный, и вы менее чем в месяц не только оправдаете расходы, но наживете колоссальные проценты. Что касается суммы, которую я хотел бы получить за право распространения и производства моего изобретения, то я скромнен — я продам его вам всего за пятьдесят тысяч...

— Но чем вы гарантируете меня, что ваши аппараты соответствуют их назначению?

— О, за этим дело не станет. У меня есть дома модель, и если...

— Времени у меня достаточно, — перебил его Прейс и, позвонив, приказал шоферу подать автомобиль.

Заслуженный психиатр профессор Пехтерев, автор многочисленных ученых трудов, совершал свой обычный утренний моцион, когда из подъезда одной из крупнейших газет бомбой вылетел первый газетчик и помчался по Невскому, бешено крича:

— «Сынсацыя». Изобретена машина мудрости. Нет глупых.

За ним вылетел второй, третий, четвертый, и скоро весь благоустроенный Невский XXV века кишел газетчиками, певшими на разные голоса:

— «Сынсацыя». Изобретена машина мудрости. Нет больше глупых.

Профессор первое мгновение подумал было о массовом помешательстве и даже невольно по старой привычке вспомнил примеры массовых психических заболеваний в истории, но все-таки не выдержал и купил газету.

На первой странице жирным шрифтом стояло:

Чудо XXV века

«Редакция получила сведения о новом изобретении известного уже ученому миру Белкова. Это так называемая “машина мудрости” и т. д.

По слухам, известный миллионер-биржевик Прейс, недавно потерявший половину своего состояния благодаря закрытию пушечных заводов, занялся изготовлением этих машин».

Профессор дочитал, с недоумением посмотрел вокруг себя, словно ища кого-нибудь, кому мог бы вылить бушевавший в груди чувства и, не заметив никого, кроме городского, направился к тому.

— Послушайте, — обратился психиатр, — что же это такое?

— Что? — строго спросил городской.

Профессор указал на заметку, — городской прочел, взглянул на Пехтерева, и вдруг оба разразились таким хохотом, что перебежавшая в это время улицу кошка в ужасе бросилась к водосточной трубе и стрелой взмыла по ней на крышу Императорской библиотеки.

А через несколько часов весь Петроград хохотал так, как не хохотал за семь столетий своего существования.

Между тем дело у Прейса и Белкова кипело и, месяц спустя, несколько тысяч «машин», изготовленных на собственном заводе Альберта Ивановича под руководством самого Белкова, поступило в продажу.

Несмотря на высокую стоимость — экземпляр — пять тысяч рублей, спрос превзошел самые смелые ожидания, и в

несколько дней все количество было распродано.

Ходили слухи, что даже некоторые почтенные профессора, светила науки, тайком приобрели по экземпляру «машины мудрости».

Скоро пришлось выпустить в продажу несколько сот тысяч экземпляров, и Прейс ходил именинником, потирая от удовольствия руки.

— Ну, что я вам говорил, — заметил однажды Белков, когда они сидели в фешенебельном ресторане за бутылкой шампанского, — разве не превосходная штука, — моя «машина мудрости»?

— Чудесная, — ответил Прейс и растроганно предложил:

— Хотите стать моим компаньоном?

— Спасибо, дорогой, но, право, я в такой степени счастлив славой, что мне достаточно и пятидесяти тысяч.

Через год все население земного шара сделалось мудрым настолько, что стали поговаривать о необходимости закрытия гимназий и университетов за полной их ненужностью, ибо даже гимназист первого класса мог написать сочинение на любую тему не хуже самого ученого профессора. Что же касается разного служащего люда — приказчиков, сапожников, трубочистов, колбасников, то все они предпочли науку и литературу своим профессиям и начали писать пространные сочинения, которые не находили себе сбыта на книжном рынке, потому что наука и литература сделались общим, присущим каждому качеством и никого уже не интересовали. Тогда случилось то, чего ни в коем случае не могли ожидать Прейс и Белков.

Однажды вечером в кабинет к Прейсу влетел Белков и еще с порога закричал:

— Беда! Беда! — и без чувств упал в кресло подле испугавшегося Прейса.

Когда тому удалось привести румяного старичка в чувство, Белков вытащил из кармана скомканную газету и молча указал на обведенное красным карандашом место.

Миллионер прочел:

— Сенсационное донесенье. Правительствам всех стран предписано изъять из продажи знаменитую «машину мудрости», как вредный для политических и социально-экономических интересов соблазн, а для того, чтобы успешнее бороться с пустившим уже корни злом, учредить в университетах кафедру новой науки... глупости.

Историк XXVI века говорит, что на другой день после обнародования противоразумного манифеста по улицам ходили многочисленные толпы и пели сочиненный каким-то безнадежным глупцом гимн:

«О, глупость, тебе поклоняемся, ты жизни святая звезда. От разума мы отрекаемся, чтоб снова глупить без конца».

Глядели на эту демонстрацию седовласые ученые, маститые писатели, и слезы радости струились по их щекам.

Плакали, но не от радости, и Прейс с Белковым.

ЛУЧИ СМЕРТИ

Дождливым осенним вечером, — когда в стремительно несущихся на улицах потоках воды отражались яркие пятна электрических фонарей, когда прохожие спешили в ресторан или домой, чтобы за бокалом вина или стаканом чаю создать в своем воображении хотя слабую иллюзию чего-то теплого и весеннего, в один из узких переулков Петроградской стороны свернул бешено мчавшийся автомобиль и подкатил к подъезду большого шестиэтажного дома. Из автомобиля выскочил высокий, высокий господин, торопливо расплатился с шофером и быстро вбежал по лестнице во второй этаж, где остановился перед дверью с медной дощечкой «Инженер К. И. Пальцев» и три раза нажал кнопку электрического звонка.

Дверь тихо распахнулась — и лакей помог господину снять пальто.

— Где же ваш больной?

— Пожалуйста, г-н доктор.

Доктор вошел в указанную лакеем комнату и очутился в спальне больного. В воздухе стоял тяжелый, специфический запах лекарств. Люстра из трех зеленоватых лампочек разливала кругом зеленоватый свет, от которого лицо больного, тонувшее в подушках, казалось еще безжизненнее.

— Это... доктор? — слабым голосом спросил больной.

— Одинцов, — представился вошедший и, присев к нему, деловито спросил:

— Ну, рассказывайте, что у вас болит?

— Все, доктор. Я чувствую, что скоро умру.

— Всегда успеете, — оптимистически заметил Одинцов и принялся за скучную процедуру обычных выстукиваний и выслушиваний; потом выпрямился и сказал:

— Правое легкое — капут; левое только наполовину. Достоверно сказать, когда умрете, не могу, но если поедете на юг, то проживете еще годик-два. Как видите, — отчаиваться нечего.

— Все вы так, доктора... — хрипло засмеялся больной: — жить-то мне всего несколько дней, а вы... год! Утешитель вы этакий.

— Ну, к чему такое безотрадное убеждение, — полушутливо возразил Одинцов. — Уверяю вас, что вы будете жить еще по крайней мере год. Год, а то и два.

— Довольно, доктор. Я, собственно, не для того вас пригласил... не для осмотра... У меня другое дело. До вас меня осматривали три профессора. И все трое пришли к единодушному выводу, что мне остается теперь очень немного. Я попросил их быть откровенными, сказав, что я устал и не боюсь смерти. Оказалось, это «немного» — два-три дня. Вот какие вы, доктора, — и больной, откинувшись на подушки, как-то всхлипывая, засмеялся. Сейчас же смех перешел в затаенный, удушливый кашель, от которого все тело инженера начато судорожно вздрагивать. Схватив платок, он приложил его ко рту и, словно желая разом избавиться от потрясающего кашля, выплюнул что-то в платок.

— Опять эта.... кровь. Даже смеяться нельзя...

Когда чахоточный успокоился, доктор спросил:

— Что же, однако, заставило вас пригласить меня?

— Сейчас мы поговорим об этом. Дело вот в чем...

Инженер пристально взглянул на Одинцова, словно стараясь разобраться в том, что он за человек, и неожиданно закончил:

— Хотите быть обладателем одной тайны?

— Одной тайны? Зачем?

— Сейчас узнаете. В одном месте земного шара — о нем узнаете из бумаги, которую получите от меня — спрятан документ огромной ценности. Его нужно взять и доставить в министерство военных дел — вот и все.

— Но почему вы обратились ко мне?

— У меня никого нет, кроме экономки.

— Что же это за бумага, которой вы придаете такое значение, и почему она не с вами, а где-то в другом месте, — спросил Одинцов, чувствуя, что у него начинает кружиться голова от всей этой загадочной истории.

— Это... маленькое изобретение. Изобретение, за которое любое иностранное министерство заплатит вам несколько миллионов. Почему оно не со мной? Два года тому назад, когда я совершал мое кругосветное путешествие, я спрятал чертежи в месте, о котором узнаете после, испугавшись за человечество.

— Это похоже на сказку, — слабо улыбнулся доктор.

— Итак, соглашайтесь, — решительно сказал больной, — и вы в короткое время богаты. На предварительные расходы я вам дам... десять, двадцать тысяч — сколько понадобится. Ну? — полувопросительно взглянул на него инженер.

— Я согласен.

— Теперь несколько слов о моем изобретении. Это — телеграф смерти. Вас удивляет определение, но это так. Мой аппарат обладает свойством посылать в пространство особые лучи, которые, проникая в предметы различной плотности, уничтожают только живые организмы. Лучи эти могут посылаться на любое расстояние; достигнув цели, они перекрещиваются, образуя сеть, в которой все захваченное ею гибнет. Вот и все.

В тот же вечер доктор Одинцов получил от Пальцева полномочия, бумагу с указанием места, где находятся чертежи, и чек на двадцать тысяч.

На другой день инженер скончался.

II

В то время, к которому относится мой рассказ, земля представляла в высшей степени любопытное зрелище. Она была изрезана воздушными дорогами, на которых установилось правильное движение пассажирских аэропланов. Днем и ночью по воздушным трактам мчались огромные, переполненные пассажирами «ковры-самолеты», путь которых ночью намечался яркими маяками-башнями, стоявшими на известном расстоянии один от другого. Местом же

спуска в городах являлись особые обширные платформы, которые были воздвигнуты над домами и отправляли функции обыкновенных железнодорожных вокзалов. На этих платформах вы могли купить билеты до любого пункта земного шара. Быстрота, удобство и красота воздушного передвижения давно вытеснили поезда железных дорог, которые продолжали функционировать, обслуживая только беднейшие классы населения и перевозя большие грузы. Человеческий гений к тому времени был на высоте технического совершенства и города земли казались воплощением фантастических сказок, когда-либо пришедших в голову поэта-утописта. Но совершенство техники нисколько не оздоровило и не улучшило само человечество — и чем выше, чем многограннее и утонченнее становилась культура, тем хилее, болезненнее становилось само человечество.

Правда, медицина стояла тогда очень высоко, но она только поддерживала жизнеспособность человечества, а не возрождала его, и физиономии «носителей знания», «царей природы» все резче, все рельефнее отражали признаки глубокого и безнадежного вырождения.

III

Поздно ночью, вернувшись от инженера домой, Одинцов прошел в свой кабинет и, открыв электричество, сел за письменный стол. Перед ним лежал большой синий конверт с бумагой, в которой указывалось местонахождение чертежей. Но Одинцов не спешил вскрывать его. Он был погружен в мысли и отчетливо видел серое землистое лицо Пальцева, слышал его слова:

«Итак, соглашайтесь — и вы в короткое время богаты...»

— Да.... богатство... — Одинцов вздохнул и на мгновение подумал, не сон ли все случившееся с ним. Но чек в один из крупнейших банков, конверт и доверенность самым убедительным образом рассеяли его сомнения. Он закурил

папиросу и вскрыл конверт.

В нем оказалась бумага с подробным описанием места, карта и вырванный листок дневника. На листке стояла дата: «Марта 12-го дня, 2114 года. Вальпарайзо».

«Не знаю, — писал Пальцев, — почему, но внезапно у меня явилась фантазия избавиться от моего изобретения. Может быть, боязнь за человечество, которому оно угрожает неисчислимыми бедами? Едва ли. Я никогда не был гуманистом, никогда не переоценивал человечества XXII века. Наоборот, я даже рад был бы, если бы какая-нибудь стихийная катастрофа уничтожила и людей, и культуру — это сатанинское наследие человеческой истории. Я ненавижу себя за то, что я человек, маленький, хилый, хитрый и очень умный человек. И все же что-то заставило меня избавиться от результата многих бессонных ночей и колоссальной работы мысли. Я думал сперва совсем уничтожить чертежи, цифровые вычисления и химические формулы; однако, помешала естественная гордость изобретателя, и я решил спрятать их в каком-нибудь месте. Сегодня утром, выпив чашку кофе в моем отеле, я нанял автомобиль и приказал шоферу ехать за город. Около часа ехали мы по шоссе, по обеим сторонам которого тянулись темно-зеленые рощи пальм. И вот, наконец, я нашел подходящее место. По левую сторону шоссе пальмовая роща разделялась большой поляной, сплошь усеянной гигантскими обломками скал, свидетелями бывших геологических переворотов. Я приказал шоферу остановиться, сказав, что хочу осмотреть это живописное место, и, выйдя из автомобиля, углубился в своеобразный гранитный лес. Когда я был уже довольно далеко от шоссе и убедился, что меня из-за обломков совершенно не видно, — я осмотрелся. Это была миниатюрная долина, замкнутая в скалах различной формы и величины. У подножия одной из них я вырыл глубокую ямку, положил в нее металлическую капсулю с бумагами и снова заполнил ямку землей, притоптав ее ногами. Погребение совершилось. Признаюсь, мне стало грустно, словно я похоронил близкого и дорогого мне человека. Когда я садился в авто-

мобиль, шофер с удивлением посмотрел на меня, но я коротко и сухо приказал ему ехать обратно в Вальпарайзо»...

IV

С ростом культуры, с последними достижениями в технике передвижения и человеческое время сделалось конкретнее, ценнее, короче. То, на что двести или триста лет назад потребовалось бы, по крайней мере, несколько часов, выполнялось теперь в несколько минут. В прошлом, когда пароходы и поезда старой конструкции являлись единственными факторами передвижения, маршрут Петроград—Вальпарайзо совершался в несколько недель; теперь же — в несколько дней. Понятно поэтому, какая досада охватила Одинцова, когда, приехав на «Западную платформу», он не застал срочного пассажирского аэроплана, который за минуту до его прибытия поднялся на воздух и казался теперь на фоне ночного неба огненной точкой. До отлета следующего оставалось десять минут, но эти десять минут показались Одинцову почти вечностью. Он пришел в ресторан и, сев за столик, заказал бутылку вина. В большом зале, ярко освещенном электричеством, сидела и ходила самая пестрая интернациональная публика. Тут были туристы всех национальностей: коммивояжеры, купцы, чиновники, артисты, комиссионеры, военные. Одинцов пил вино стакан за стаканом, бегло взглядывал на своих соседей, изредка вынимая из жилетного кармана золотые часы. Оставалось всего три минуты до отлета аэроплана № 2375, когда Одинцов, допив последний стаканчик вина, встал, чтобы расплатиться. В тот момент, когда он получал сдачу, взгляд его случайно упал на господина за соседним столиком, в свою очередь расплачивавшегося с официантом. Взгляды их встретились и... Одинцов узнал лакея инженера Пальцева, того самого, который несколько дней назад открыл ему дверь. Но теперь это был солидный, элегантно одетый господин, с барской небрежностью говоривший с

официантом и оставивший последнему крупные чаевые. Господин, так походивший на упомянутого лакея, спокойно выдержал взгляд Одинцова, взял ручной саквояж и, не торопясь, отправился к выходу на платформу. Одинцов пошел следом и, к удивлению своему, видел, что господин сел в тот же аэроплан, в котором должен был лететь и он. Это обстоятельство его заинтересовало. На воздушных кораблях того времени находилось от десяти до пятнадцати кают для пассажиров, ресторан, библиотека и музыкальный салон; все это было сооружено из алюминия — наиболее легкого и в то же время прочного металла. В движение они приводились десятью, или более, моторами, в тысячу лошадиных сил каждый, и были снабжены громадным пропеллером, шум которого поглощался особым звукопоглощающим. Одинцов вошел в кабину № 6, нашел свое место и сел. Он огляделся, но среди его соседей по кабине странного господина не оказалось. Впрочем, Одинцов о нем скоро забыл и сосредоточил все свои мысли на ближайшем будущем. На перроне послышалась возня, взволнованные голоса — обычные признаки скорого отлета, и в кабину, где сидел Одинцов, ввалился, пытая и отдуваясь, грузный, краснощекий толстяк и торжествующе, обращаясь ко всем, сказал:

— Все-таки поспел! Черт подери, это была гонка!

Толстяк сел против Одинцова. В этот момент раздался легкий толчок, заглушенная работа моторов — и аэроплан отделился от платформы.

Одинцов посмотрел в окно и увидел под собой залитый огнями, кишущий людьми Петроград. Вот промелькнули древний Исаакий, огромная бронзовая фигура знаменитого авиатора с электрическим факелом в руке на берегу Невы, Адмиралтейская игла — и через минуту море огней, храмы, музеи, министерства, памятники, как призраки, растаяли в отдалении. Аэроплан мчался с страшной быстротой над бесконечными равнинами и лесами. Вот вспыхнул первый маяк с указанием пройденного расстояния, потом пролетел мимо ярко освещенный аэроплан «Вест-Индской Комп.», а там дальше снова потянулась бесконечная равни-

на, леса, однообразие которых слегка скрашивалось огненными маяками.

Одинцов надоело смотреть, он закурил сигару и с любопытством начал разглядывать своих спутников. В это время толстяк, которому, очевидно, было очень скучно, приятно улыбнулся и спросил:

— Далеко изволите ехать?

— Нет.

— Куда же именно?

Одинцов с некоторым удивлением посмотрел на любопытного и нехотя ответил:

— В Америку.

— В Южную или Северную?

— В Южную...

— В Южную?! Да уж не в Вальпарайзо ли вы едете?! — воскликнул неугомонный болтун, впиваясь своими маленькими рачьими глазками в Одинцова. — И я туда же. Такое совпадение! Позвольте представиться: Безменов, фабрикант.

Через несколько минут толстяк окончательно овладел его вниманием — и поволок Одинцова на буксире в ресторан, где заказал вино на двоих, продолжал все время сыпать словами, как горохом.

— Слышали вы о воздушных пиратах в районе Атлантического океана? А? Это, должно быть, страшно? Говорят, что уже несколько аэропланов погибло. Какой ужас!

Одинцов снисходительно улыбался, давал короткие ответы, но все время поглядывал туда, где снова сидел господин, похожий на лакея инженера Пальцева, и пристально смотрел на Одинцова холодным, недобрим взглядом, в котором вспыхивали какие-то неуловимые огоньки.

— Несомненно, это он! — решил Одинцов, и чувство какой-то смутной опасности вползло в его душу. Он рассеянно слушал словоохотливого толстяка.

В Париже Одинцов должен был пересесть в другой аэроплан: Париж—Вальпарайзо. Его неизменным мучителем и спутником снова сделался неутомимый говорун Безменов; он не отставал от него ни на шаг, предлагая все время комбинации увеселительного характера.

— Остаюсь на один день в Париже, — сообщал он. — Почему бы вам не остаться тоже? Не бабушка же умерла у вас в Вальпарайзо? Устроили бы интересную экскурсию по значным местам. Женщины, батенька, в Париже *grix-fixe*, — и он делал при этом такое лицо, словно только что попробовал кончиком языка какое-нибудь тонкое блюдо.

— Нет, — холодно ответил Одинцов, — я еду без остановки.

Когда аэроплан отделился от платформы, добродушный толстяк крикнул Одинцову, стоявшему у окна:

— До скорого свидания! В Вальпарайзо встретимся!

И долго еще махал платком, пока не превратился в едва заметную точку.

— Надоедливый, но славный парень, — подумал доктор, садясь на свое место, и вдруг легкая дрожь прошла по его телу: против него сидел все тот же господин, обративший на себя его внимание еще в Петрограде.

Одинцов старался не смотреть на него, почувствовал на себе пристальный, наглый взгляд, и это, словно цепями, сковывало его движения, заставляло раздражаться за малодушие.

Когда Одинцов в свою очередь вопросительно взглядывал на него, тот отводил взгляд в сторону, рассеянно смотрел вниз на равнину, словно в этот момент его ничто больше не интересовало.

И постепенно доктором овладело убеждение, что странный субъект следит за ним.

VI

Глубокой ночью по Вальпарайзскому шоссе быстро мчался автомобиль. Было душно. Изредка, как ленты серпантина, по небу, затянутому грозowymi тучами, пробегали синеватые молнии, и вслед за ними глухо и сдержанно перекачивался гром. Одинцов внимательно всматривался в левую сторону шоссе, слабо освещенную двумя лучами автомобильных огней. Тонкие, высокие призраки пальм быстро убегали назад. Доктор стукнул в окошко, и автомобиль остановился.

— Подождите здесь, — сказал Одинцов шоферу в непроглядном мраке тропической ночи. Он тихо шел, оглядая обломки скал и надавливая иногда кнопку карманного фонаря, чтобы осветить путь. Чувство какого-то неопределенного страха, так свойственного человеку, когда он идет ночью в лесу, один перед загадочным, молчаливым лицом природы, овладевало доктором.

— Трус, — рассмеялся он и, остановившись, закурил папиросу. Но когда слабый огонек автоматической зажигалки вспыхнул и из мрака выступили силуэты мшистых, громоздких скал причудливой формы и величины, — безотчетный страх еще больше овладел Одинцовым, и какой-то, заглушаемый доводами разума, внутренний инстинкт властно приказал ему идти обратно.

Но это была короткая борьба — и мужчина победил.. Одинцов пошел дальше. Вот он уже в знакомой по описанию котловине, вот камень и место у подножия его, где зарыты чертежи инженера. Одинцов опустился на камень, вынул из кармана маленькую лопатку и начал выкапывать землю. Внезапно ему почудился шорох, и он, вздрогнув, прислушался: тихо. Только глухо и сдержанно где-то перекатывается гром. Лопатка ударилась о что-то металлическое — и мгновение спустя в руках Одинцова оказалась заржавевшая металлическая трубка. Снова послышался шорох и одновременно блеснула молния. На мгновение в ярком призрачном свете выступили силуэты скал, и Одинцов

увидел в двух шагах от себя высокую фигуру в плаще, с надвинутой на глаза шляпой.

— Не двигайтесь, — спокойно сказал знакомый голос: — мы одни, и здесь нас никто не услышит. Если вы сделаете хоть одно движение, я застрелю вас.

— Что вам нужно от меня? — глухо спросил Одинцов.

— То, что у вас в руках, — спокойно ответил незнакомец.

— Нет! никогда! — дико вскрикнул Одинцов, вскакивая на ноги.

— Вы отдадите или... — рука незнакомца медленно поднялась в уровень с головой Одинцова.

И в этот момент доктор, осознав, что положение его почти безвыходно, наклонил голову и ринулся вперед на своего врага. Мимо прожужжала пуля, сплюснись об утес, и двое людей, схватившись, как дикие звери, упали на землю, продолжая душить друг друга на ней в абсолютном мраке, в глубоком молчании природы. Но противник Одинцова был сильнее, и доктор стал ослабевать; он хотел закричать и не смог: стальные руки сжали его горло, не разжимая пальцев. На мгновение в сознании доктора мелькнул веселый, болтливый Безменов, умирающий инженер, лица знакомых и родных, пронеслась, как в калейдоскопе, вся его жизнь с радостями и волнениями, — и сразу все исчезло в каком-то клубящемся, бесформенном хаосе.

VII

В двадцать втором веке тоже были корсары. Но они предпочли воздух морю, как стихию, в которой можно было чувствовать себя более безопасно, так как воздух принадлежал всем и никому, не был разграблен на государства, города, области с их строгими законами и постоянным надзором за преступными элементами. Пираты морей превратились в пиратов воздуха, и их небольшие, но быстрые, как молния, неуловимые аэропланы рыскали в воздухе, внезап-

но появляясь то здесь, то там и нападая на переполненные пассажирами громоздкие аэропланы. Правда, бронированные аэропланы международной воздушной полиции периодически исследовали воздушный океан, иногда захватывая не успевшего ускользнуть корсара, однако это не очень мешало пиратам производить свои опасные разбойничьи операции.

Два дня спустя после описанного в предыдущей главе огромный пассажирский аэроплан Вальпарайзо—Париж мчался над Атлантическим океаном.

За одним из столиков в ресторане, ярко залитом электричеством, сидел высокий, широкоплечий господин, сходство которого с лакеем инженера так поразило Одинцова. Он пил коньяк рюмку за рюмкой, дымил сигарой и изредка из-под полей шляпы взглядывал на своих соседей. Если бы кто-нибудь обратил на него внимание, то заметил бы тонкую, ядовитую усмешку на его губах и странный огонь, загоравшийся в его глазах. Но никто не обращал на него внимания.

В это время в ресторан вошел главный кондуктор в сопровождении своих помощников и объявил деланно-спокойным тоном:

— Господа, не волнуйтесь и приготовьтесь: нас преследует корсар.

Наступило мертвое молчание, предшествующее всегда панике. Потом поднялся невообразимый шум, истерические крики женщин, плач детей, проклятья мужчин. Некоторые бросились к окну и старались разглядеть во мраке ночи аэроплан пиратов. Он плавно и быстро спускался на свою жертву, сверкая огнями, неумолимый, как сама судьба.

Мужчины и администрация, все, у кого были револьверы, высыпали на наружную палубу аэроплана и готовились встретить противника достойным образом. Среди них спокойно и уверенно, ничем не проявляя своего волнения, стоял господин в плаще и надвинутой на глаза шляпе.

И вот корсар поравнялся.

— Сдавайтесь! — прогремел голос с площадки аэроплана пиратов. — Сда...

Но говоривший не успел закончить слова, как упал за борт, сраженный сразу несколькими пулями.

Корсар взвился в воздух, и через минуту от него отделилась бомба. Раздался грохот, треск, совершенно заглушивший крики людей, и аэроплан, как раненая птица, рухнул вниз, унося с собой тайну страшного изобретения и смерти доктора Одинцова.

VIII

Капитан Стимор сидел в маленькой, но уютной каюте своего «Часового», который быстро скользил по глади океана, направляясь к берегам Южной Америки. «Часовой», по справедливости, считался лучшим охранным и разведочным крейсером английского флота, а капитан Стимор — опытейшим старым моряком, на которого спокойно можно было положиться.

Последний короткими глотками пил ароматный, дымящийся грог и говорил старшему офицеру Маку Альбену:

— Момент близок, Альбен. Самое большее месяц, и Европа будет охвачена грандиознейшим пожаром, который превзойдет своими размерами «великую войну народов» два века назад. Немцы, посрамленные и разбитые тогда, теперь снова поднимают голову и начинают говорить чересчур требовательно... Читали вы один из последних №№ «Морского вестника»? Они уже заводят речь об уступке им части тихоокеанских островов! А поведение Китая? Как хотите, но оно подозрительно. Мы совершенно упустили из виду нарастание военной мощи этой двуличной, коварной и жестокой расы, в котором деятельное участие... — Стимор не договорил: заглушенный расстоянием грохот заставил его вздрогнуть и остановиться.

— Взрыв, — заметил Альбен.

В этот момент зазвонил телефон; капитан бросился к нему, приложил трубку и первое, что услышал: это — шум разбивавшихся о борта крейсера волн; потом донесся голос

дежурного офицера:

— В расстоянии одного кабельтова упал большой пассажирский аэроплан... Очевидно, жертва набега воздушных корсаров...

— Полным ходом идти к нему! — приказал Стимор, многозначительно взглядывая на Альбена.

Приказание капитана было передано по рупору в машинное отделение и «Часовой», задрожав стальным корпусом от титанической работы огромных машин, полетел к месту катастрофы.

Командой «Часового» были подобраны несколько раненых пассажиров, один из которых, не приходя в сознание, скончался на борту крейсера.

Альбен готовился заснуть, когда его позвали к капитану.

Старый Стимор сидел за столом, на котором лежали какие-то чертежи.. Лицо его было торжественно, глаза горели странным светом...

— Сэр, — начал Альбен, видя, что капитан не замечает его.

— Ах, это вы! — очнулся тот и вдруг окрепшим, молодым голосом начал говорить:

— Знаете, что это за чертежи? Это величайшее военное изобретение! Я смыслю кое-что в технике и скажу вам, что более тонкого и совершенного орудия смерти, как это, свет не видал. Да-с! Господин, на котором найдены, после смерти его, эти бумаги, — немецкий шпион, на что указывает характер некоторых писем, а само изобретение русского происхождения и, по-видимому, украдено...

— Однако, что это за изобретение? — спросил ошеломленный Альбен.

— «Лучи смерти»! Вы знаете — маленький луч, ничтожная нить страшного света и сотни тысяч людей гибнут, не отдавая себе отчета в гибели... О!

Капитан сделал паузу, прошелся по каюте и — вдруг остановившись перед Альбеном, экзальтированно воскликнул:

— Теперь нам не страшны ни Германия, ни Китай! Вы понимаете это, Альбен?

СТАСЬ-ГОРБУН



1

Никто не играл на скрипке так хорошо, как Стась-горбун, и никто не понимал так нежно и глубоко голоса природы, как он. Разве не он сочинил о куме Юзефе веселую песенку, которую односельчане его распевали на всех вечеринках, свадьбах и крестинах? Дар песни был ему отпущен Богом и умение веселить людей, а что может быть прекрасней чистого веселья и радости, которые начинают бродить в душе человека как молодое вино от звуков скрипки и смешной песенки? Правда, некрасив был Стась... Крохотное, обезображенное горбом туловище было посажено на тоненькие, как у водяного паучка, ноги; длинные и худые руки, болтавшиеся по бокам, казались совершенно ненужным и случайным придатком, без которого тело могло бы свободно обойтись, а голова, маленькая и угловатая, как-то просто и нескладно приложенная к несуразному туловищу, ничем замечательным не отличалась, кроме разве глаз... больших и голубых, как озеро в ясный весенний день. Но под безобразной внешностью Стася жила прекрасная душа, которая не любила своего тела и часто улетала из него в страну сказок и радостей.

Очень любил Стася за игру на скрипке патер Сигизмунд — деревенский ксендз; всякий раз, когда проходил мимо избы старой Брониславы, — матери Стася, останав-

ливался, чтобы перекинуться словцом, и замечал:

— Как поживаете, пани Бронислава? А ваш сын в прошлое воскресенье особенно хорошо играл «Ave Maria»... Надо бы его в Варшаву послать учиться...

На что неизменно следовал ответ, сопровождавшийся вздохом:

— Куда уж нам, патер Сигизмунд. Мы люди бедные, и хорошо еще, что с голоду не умираем...

— Да, это верно... Ну, помогай вам Матка Бозка, — заканчивал ксендз и шел дальше. А патер Сигизмунд считался человеком ученым, знал толк в музыке и даром не любил хвалить.

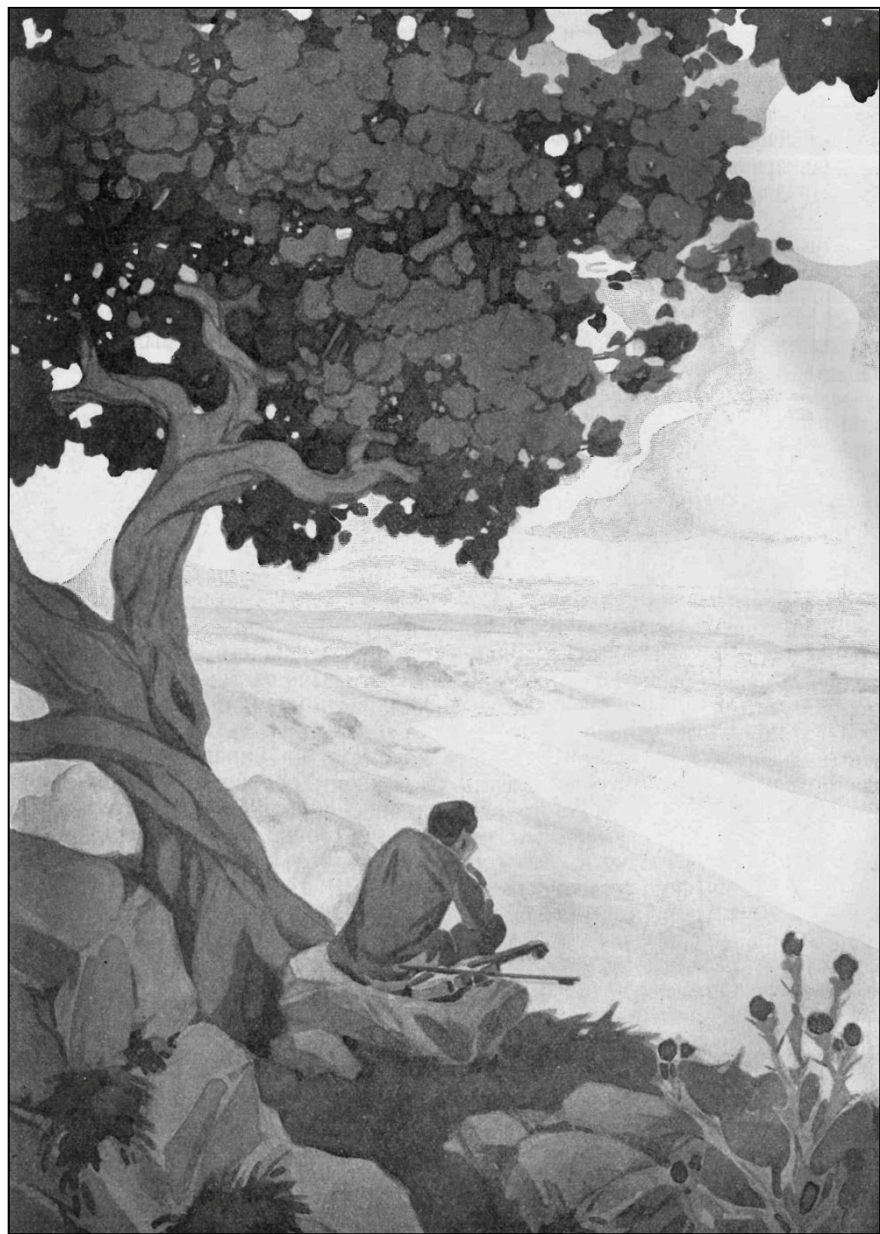
Вот каков был Стась-горбун.

2

За речкой, что протекает возле деревни, на высоком холме дремлют развалины старинного польского замка. Давно прошло то время, когда под мрачными сводами замка, за дубовыми столами, на которых в тяжелых кубках пенился столетний мед, собирался цвет шляхетства Речи Посполитой, когда в дремучих лесах, вырубленных теперь, раздавались звуки охотничьих рогов и на породистых конях в красных раззолоченных жупанах мчались, догоняя борзых, «ясновельможные» паны...

От замка уцелели только стены, массивные, серые; все остальное: крыша, подъемный мост, угловые башни — кроме одной, — рухнуло, сгнило, превратилось в мусор.

Стась приходил сюда со своей скрипкой провожать солнце, и седые стены, по которым скользили алые лучи заката, долго по вечерам слушали нежную, тоскливую мелодию, звуки которой, то усиливаясь, то ослабевая от внезапной боли, уплывали в ясный вечерний воздух, стремясь к далекой черте, за которой исчезал красный огромный диск. Когда же солнце тонуло и наступали сумерки, с болота, что находилось в долине, поднимался синеватый ажурный ту-



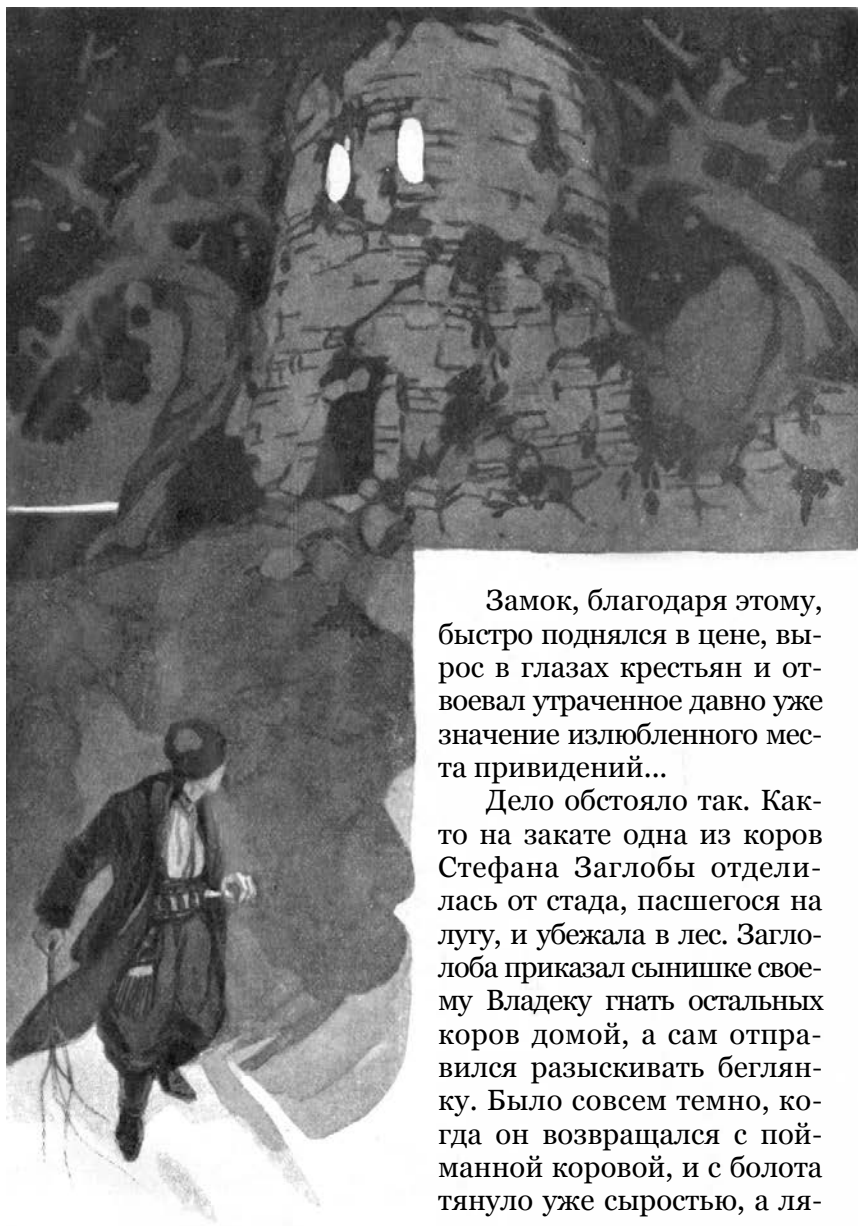
ман, начинало нести прелой сыростью, а в камышах, окаймлявших болото, просыпалась какая то особенная ночная жизнь, томно квакали лягушки, пуская по временам длительную, мелодичную трель, протяжно и жутко кричала выпь...

И тогда скрипка Стася, проникаясь торжественной и мрачной красотой наступавшей ночи, начинала петь серьезно, медленно и печально, и звуки уже не стремились к солнцу, в вышину, как прежде, а низко стлались по земле, припадали к стенам старого замка и глухо рыдали.

3

На границе уже грохотали немецкие пушки и лилась кровь, а в поездах в глубь России перевозились раненые и пленные...

Деревня Стася наполовину опустела: ушли запасные на станцию, чтобы ехать на сборный пункт в сопровождении опечаленных жен и матерей... Но война была еще где-то далеко, и не хотелось верить, что призрак ее молча надвигнется на мирное селение, скомкает тихий и дремотный уклад деревенской жизни и раздавит слабых людей, чтобы шагнуть дальше к новым жертвам. И потому скоро все успокоилось, вошло в колею, а война и ужасы как-то тушевались, и только ксендз, получавший из Варшавы газету, был единственным источником сведений в деревне, из которого можно было всегда почерпнуть новое о войне. В костеле по-прежнему шли службы, а Стась, как и раньше, играл «Ave Maria» или веселил смешной песенкой о куме Юзефе притихших обывателей деревни, собирая не столь щедрую, как до войны, но все же достаточную для жизни добродетельную дань натурой и деньгами. Поэтому темный, непроверенный слух о том, что в развалинах замка бродят по ночам привидения, явился громом в ясном небе и сразу приковал к себе внимание и интересы, отодвинув на задний план остальное.



Замок, благодаря этому, быстро поднялся в цене, вырос в глазах крестьян и отвоевал утраченное давно уже значение излюбленного места привидений...

Дело обстояло так. Както на закате одна из коров Стефана Заглобы отделилась от стада, пасшегося на луку, и убежала в лес. Заглобо приказал сынишке своему Владеку гнать остальных коров домой, а сам отправился разыскивать беглянку. Было совсем темно, когда он возвращался с пойманной коровой, и с болота тянуло уже сыростью, а ля-

гушки в тростниках заводили ночную песню. Далеко за рекой приветливо маячили огоньки деревни, четко выделялись черные контуры костела, а совсем близко, на пути Заглобы, высился холм и мрачные развалины старого замка с причудливыми изломами стен на нем. И вот, когда Заглоба, огибая с правой стороны холм, случайно взглянул наверх, он почувствовал, как в жилах его застыла кровь и сердце перестало биться. Там, наверху, вдоль полуразвалившейся стены медленно двигалась черная фигура и не фигура даже, а тень, так смутны и призрачны были ее очертания, такими легкими и воздушными казались ее движения...

Тень, как уверял Заглоба, легко отделившись от земли, исчезла в амбразуре окна, после чего внутри замка вспыхнул призрачный синий свет; потом свет погас, и снова появилась прежняя тень, но уже не одна, а в сопровождении целого сонма других привидений, которые заплясали в воздухе какой-то дьявольский танец, испуская тихие жалобные стоны.

Скрываясь в тени холма, Заглоба дождался исчезновения теней и бросился со всех ног бежать, подгоняя корову хворостиной. И так бежал он до самой деревни, где силы оставили его и он свалился, как подкошенный, не отвечая на вопросы окруживших его односельчан. Белой горячкой нельзя было объяснить случай с Заглобой, потому что шинок Лейбы Соловейчика был давно закрыт, а сам шинкарь со всем своим скарбом уехал в Варшаву — искать новых занятий; общественное мнение поэтому единодушно склонилось в пользу чертовщины, и привидения замка сделались излюбленной темой сельских бесед. К замку боялись теперь приближаться даже днем, а поздним вечером или ночью самый безрассудный смельчак ни за какие деньги не решился бы на это.

Что касается Заглобы, то он, оправившись от испуга и учтя момент, удобный для поднятия своего престижа, принялся варьировать случай с такой игривостью фантазии, что можно было удивиться, где его простой, честный мозг по-

черпнул богатство воображения и способность импровизации.

Чем больше он рассказывал, тем дальше уходил он от правды, и чем меньше в рассказе его было этой правды, тем многочисленнее становилась аудитория. И тени уже не были просто теньями, а вестниками чего-то рокового и неизбежного, ибо Заглоба ясно слышал, что они голосами гневными и страшными восклицали:

— Смерть немцам!

Нет луна или фантазера, который, рассказывая какую-нибудь небылицу, в конце концов — не поверил бы в нее сам. Поверил и Заглоба. И когда слух о происшествии дошел до чутких ушей патера Сигизмунда, последний призвал к себе в дом Заглобу и велел рассказать обо всем подробно.

— Непостижимо! — воскликнул патер Сигизмунд, услышав сказку о привидениях, и на лбу священнослужителя прорезались две глубокие морщины, означавшие, что обладатель их чем-то озадачен.

4

Небо, бывшее последние дни ясным, вдруг заволокли косматые тучи, и стал сеять мелкий, нудный, осенний дождь. Даль поблекла, потускнела; границы горизонта сомкнулись теснее вокруг деревни, а луг, лес и старый замок растаяли в студенистом, тяжелом тумане. И ветер подул.

К вечеру дождь перестал, но ветер усилился, и порывы его начали мощно сотрясать стоявший на краю деревни домик Брониславы, словно пытаясь сорвать его с места и закружить в воздухе, как упавший с дерева лист. Надвигалась осень — серая и грустная, а за нею шли дни зимы — короткие и скучные, ночи длинные и черные. Бронислава готовила ужин, а Стась, сидя на скамье у закрытого ставнями окна, прилаживал к грифу скрипки лопнувшую струну. Вдруг страшный порыв ветра с бешеной силой, свистом и воем ринулся на избу, — где-то глухо хлопнул сорванный

ставень, и из трубы повалил загнанный обратно, густой едкий дым; потом все стихло, языки пламени снова взметнулись вверх, и в наступившей внезапно тишине отчетливо раздался энергичный, резкий стук в дверь.

— Кто тут? — спросил подозрительно Стась, выйдя в переднюю.

— Странник, — отвечал сильный, грубоватый голос, — который застигнут непогодой и просит ночлега.

— Мы люди бедные, — начал было Стась; неизвестный прервал веско и решительно:

— Я заплачу. Неужели и за деньги вы не хотите согреть и накормить человека? — Последняя фраза, проникнутая насмешкой и обидным удивлением, возымела свое действие, и Стась, оглянувшись на мать и прочтя в ее взгляде согласие, отодвинул засовы. Незнакомец оказался человеком среднего роста, плечистым, одетым в городской, но потертый простенький костюм и легкое демисезонное пальто.

Не было в его внешности ничего замечательного. Самое обыкновенное лицо; бритое, без резко очерченных линий; нос был у него неправильный, немного монгольский; лоб широкий и низкий; глаза бесцветные, водянистые; рот большой с сильно выдающейся вперед нижней губой. Но в его, некрупной в общем, фигуре угадывалась большая тренированная сила, а в том, как он шел, — чувствовался хищник, ловкий и беспощадный.

Пока он сидел на скамье, беседуя с хлопотавшей у очага Брониславой — Стась молча наблюдал за ним из своего угла, где, натянув наконец лопнувшую струну, проверял ее тон.

— Играете на скрипке? — спросил незнакомец.

— Да.

— Хорошо?

— Говорят, что хорошо.

— Сам патер Сигизмунд, — вмешалась мать, — очень хвалит игру Стася...

— Ого! — удивился гость, — сам патер! Интересно, однако, послушать, как вы играете. Я кое-что смыслю в музыке.

— Сыграй «Ave Maria», — посоветовала старая Бронислава.

Стась пристально взглянул на гостя, как бы проверяя его компетентность, — потом взял, не говоря ни слова, скрипку, и в тишине, прерываемой только глухим воем ветра за окном, родились нежные, серьезные и благоговейные звуки прекрасной молитвы. И с первой, спорхнувшей со струн нотой Стась забыл все, что было кругом: и гостя, и мать, — и вообще жизнь, и весь погрузился в тайну звуковых сочетаний, таких гибких и мощных, стремительных и медлительно-плавных. А гость слушал, жестами и мимикой выражая Брониславе свое одобрение. Когда Стась кончил, он сказал:

— Очень хорошо. Но школы нет.

— Я окончил только деревенскую, — заметил Стась.

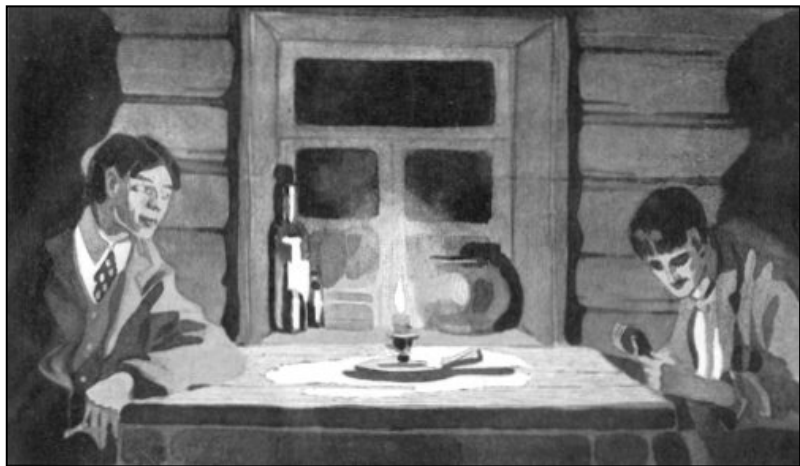
— Не о такой школе я говорю, — мягко пояснил незнакомец, — о другой... Вас как зовут? Станислав? Так вот, видите ли, Станислав, школа, о которой я упомянул, это наука о звуке. Звук, как буква музыкального языка — подчинен также известным законам, подобно слову. Наука о звуковых сочетаниях — называется — гармонией, и это своего рода грамматика. Поняли?

Стась кивнул головой.

— Так вот, — продолжал гость, — эту науку проходят в больших городах — в особых училищах... У вас есть талант, но нет школы... Поняли теперь?

Стась с еще большим любопытством начал всматриваться в незнакомца. Несомненно — это был человек образованный, городской, и казалось загадочным то обстоятельство, что он внезапно появился в этой, отдаленной от железной дороги деревне, неизвестно откуда пришедший и куда направлявшийся. Поужинав, гость закурил папироску и предоставил слово Брониславе, которая рассказала ему и о том, сколько ушло из деревни на войну, и как от этого пошатнулся заработок Стася, и о разных пустяках; когда очередь дошла до привидений, гость заметно оживился, на губах заиграла ироническая улыбка, а в глубине глаз вспыхнул странный огонек.

— Привидения, — сказал он, выслушав, — плод воображения. Мертвые не встают из могил; но, — и лицо его стало сразу серьезным, — в глазах потух огонек, — может быть, в рассказе Заглобы есть правда... А что, если покойники воскресают? Что — если в один ненастный вечер, — на губах



незнакомца засветилась странная, жуткая улыбка, а в глазах снова вспыхнул огонек, — они покинут кладбище и толпами бросятся на вашу деревню?

— Бог с вами, господин, — отмахнулась Бронислава, — скажете же вы такое. — А гость рассмеялся и заметил:

— Я шучу, хозяйка; могу сказать только, что мертвые не встают, что если бы какой-нибудь покойник осмелился меня беспокоить, я с ним особенно бы не церемонился...

Незнакомец исчез так же неожиданно, как появился. Когда утром Стась и Бронислава проснулись, его уже не было, но на столе лежал новенький рубль — доказательство честности гостя. Личность последнего в представлении Стася быстро очистилась от всего земного, облеклась в легкие дымчатые одежды тайны, и уже не человек это был, а дух, который неведомо зачем посетил домик Брониславы. Добрый или злой? Наверное, злой, потому что улыбка у него была острая, колючая, и глаза странно так загорались,

когда он смеялся.

5

День выдался на славу. Уже ранним утром тучи начали медленно сдвигаться, громоздясь одна на другую, а к полудню сочно вспыхнуло солнце, резнув лучами края разорвавшейся пелены, и быстро закурились поля синеватыми струйками водяных испарений. Весело было на душе Стася, когда он зеленым лугом шел к старому замку, и не страшно ему было. «Мертвые не встают» — вспомнил он слова незнакомца; тогда кого же бояться? Неужели этого солнца и этих лугов, жадно пьющих его лучи? Скрипка — душа Стася — соскучилась по замку и одиночеству, — а старые стены, наверное, тосковали по звукам, слушая которые, так безмятежно и воздушно вспоминается прошлое. И вот Стась знакомой тропинкой взбирается на холм, идет среди развалин к любимому камню, на котором так удобно сидеть и с которого так хорошо видны и долины, и солнце, и голубая прояснившаяся даль.

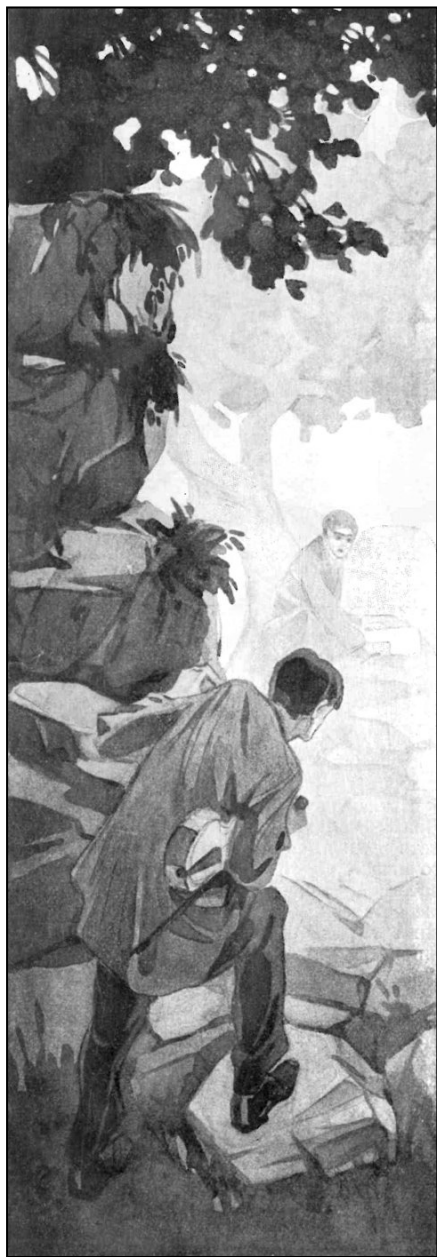
Обогнул Стась стену, за которой находится его камень, и вдруг остановился, как вкопанный: лежит на камне большой лист бумаги, а подле на коленях стоит вчерашний незнакомец и что-то чертит на нем. Услышал шаги, вскочил на ноги, и Стась увидел, как бледно его лицо, как испуганно уставились на него глаза человека... Незнакомец почти сразу успокоился, к лицу прилила кровь, а тонкие, плотно сжатые губы зазмеились вчерашней улыбкой. Повеселел даже.

— Ба, скрипач! — и, шагнув вперед, он протянул Стасю руку, сжав пальцы последнего с такой силой, что тот вскрикнул.

— Это что у вас? — спросил Стась, взглянув на чертеж.

— Это? — засмеялся незнакомец. — План местности. Взгляните, пан Станислав, поближе.

Как ни доверчив был горбун, но при этих словах смут-



ное подозрение закралось в его душу, и стало жутко, как ночью. Странно было уже то, что человек этот оказался здесь в развалинах замка. Зачем ему понадобился план местности? И отчего незнакомец так испугался, когда услышал шаги?

— Это... по-немецки? — спросил вдруг удивленно Стась, указывая на надписи на некоторых пунктах плана.

— Ну, конечно. По-немецки и для немцев.

— Так вы — немец? — и холодок испуга пробежал по спине бедного скрипача. — ...Вы, может быть...

— Шпион? Вы угадали, пан Станислав, — рассмехался незнакомец, — вот это план местности, по которой скоро пройдут наши войска... немецкие войска, — пояснил он.

Стась хотел бежать, но шпион схватил его за руку и, приблизив к нему свое лицо, низким голосом спросил:

— Неужели тебе, дурачку, не нравится говорить со мной? Или ты хочешь побежать в деревню и прокричать всем уши, что в

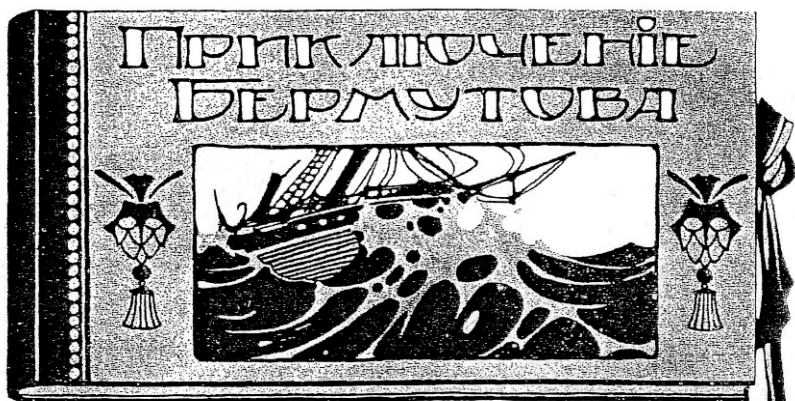
замке шпион? Ты не сделаешь этого, дурачок, — и, внезапным толчком в грудь повалив не выпускавшего из рук скрипку Стася на землю, незнакомец принялся его душить.

Несколько мгновений Стась видел над собой лицо шпиона, на котором играла жуткая улыбка, и слышал, как он говорил:

— Ты не придешь ко мне, жалкий скрипач... мертвые не встают...

Потом все исчезло.

**ПРИКЛЮЧЕНИЕ
БЕРМУТОВА**



В апреле 1874 года английский военный крейсер «Адмирал Нельсон» встретил в южно-африканских водах никем не управляемую русскую яхту. Так как был штиль, крейсер свободно мог подойти к ней, чтобы исследовать причину отсутствия на ней каких-либо признаков жизни.

В каютах в кубрике (помещение для матросов) были найдены сильно разложившиеся трупы людей. Осмотром установлено, что смерть последовала от какой-то, неизвестной европейским бактериологам, эпидемической болезни.

Среди бумаг и документов, найденных в каютах и препровожденных русскому генеральному консулу в Лондоне, находились нижеследующие записки какого-то Бермутова. В записках отсутствуют даты.

ЗАПИСКИ БЕРМУТОВА

— Где достал Игренов документы, доказывающие существование какой-то неизвестной трехостровной колонии в Атлантическом океане, мы не знаем, однако, географические указания относительно местоположения так полны, что в правдивости их нельзя сомневаться.

Документы написаны на голландском языке и подробно рисуют быт колонистов, их богатство, большую благоустроенность города и, наконец, эпидемическую болезнь, которая в короткое время опустошает колонию. Я не буду останавливаться на мелких второстепенных фактах этой удивительной истории и сразу перейду к главному — экспедиции, предпринятой нами с целью отыскать эту, заброшенную в океане и вымершую колонию.

Инициатором, как всегда, явился Игренов, снарядивший прекрасную морскую яхту и пригласивший меня, Маркевича, Лебединского и Грановского в качестве спутников. Уже месяц, как «Мыс Доброй Надежды» разрезает своим горделивым носом волны океана.

ОСТРОВА

Как-то утром в кают компанию вбежал дежурный матрос и доложил:

— Земля!

Все высыпали на палубу и в матово-пурпурных лучах поднимавшегося солнца далеко на горизонте увидели едва заметную, извилистую полосу берега.

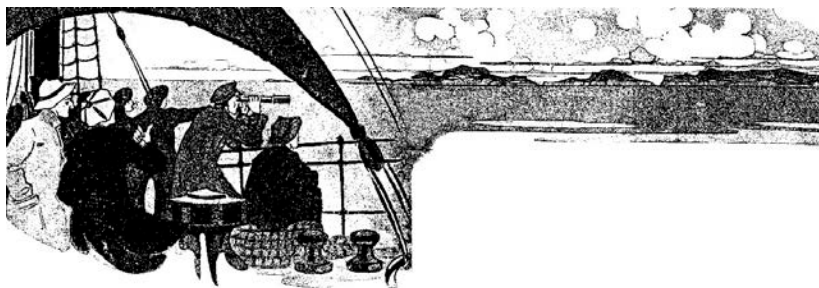
Извилистая линия в двух местах обрывалась.

Я обратил на это внимание остальных.

— Это — острова, — уверенно сказал капитан Лубейкин, — три острова, не больше и не меньше.

Слова эти заставили наши сердца забиться учащенным темпом. Если это так, то мы у цели. Легендарная группа трех островов не фикция, а чистейшая действительность, и скоро мы вступим на их таинственную почву, чтобы собственными глазами убедиться в существовании замечательного народа.

Между тем, извилистая линия постепенно вырастала, становилась определеннее и рельефнее. Скоро глазам нашим предстали три острова, расположенные почти на прямой линии один подле другого и разделенные довольно



узкими проливами.

Длиной вся группа островов едва ли достигала сорока верст.

Гористые берега их, поросшие лесом, были в некоторых местах очень высоки.

Средний остров, самый большой, изобиловал удобными бухточками, в одной из которых «Мыс Доброй Надежды» и стал на якорь.

Меня поразила необычайная прозрачность воды у берегов.

МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА РОЗЫСКИ

Часов в двенадцать утра мы сели в шлюпки и высадились на берег.

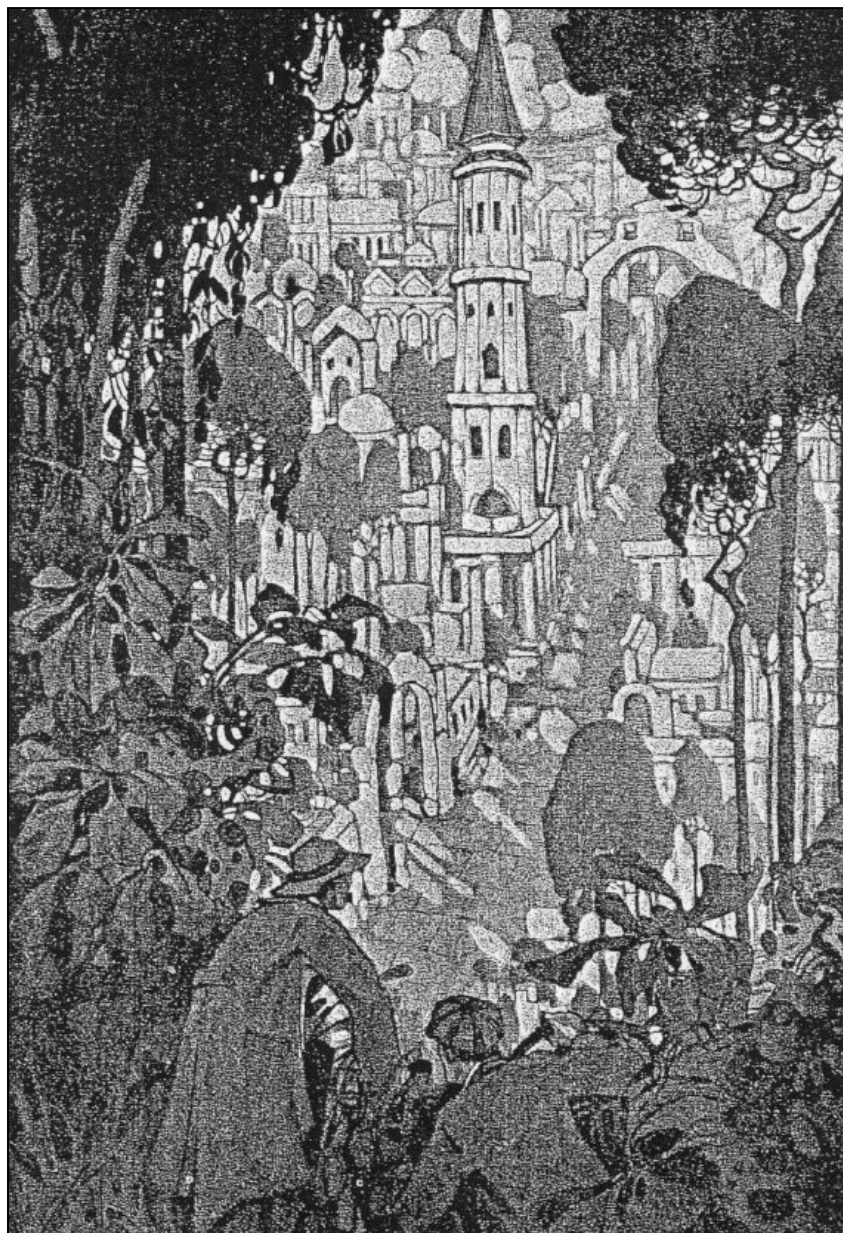
Решено было разделиться на партии, причем каждая партия получала для исследования определенный участок острова.

К вечеру мы должны были собраться на берегу бухты, в которой стояла наша яхта.

Сигналы решили подавать ружейными выстрелами.

Мне поручили исследовать восточную половину острова, тогда как Игренов с другой партией должен был осмотреть западную.

Забрав необходимые съестные припасы, мы разошлись в разные стороны, оставив на берегу четырех дежурных матросов, на обязанности которых лежало стеречь шлюпки.



В моей партии, кроме матросов, — в том числе, Бадаева, — находился один лишь Маркевич; остальные были в отряде Игренева.

Около часа взбирались мы на гористый берег, поросший мелким лесом, пока, наконец, не достигли перевала, с которого начался спуск в большую, несколько холмистую долину.

То, что мы увидели глубоко внизу, в долине, могло поразить самого смелого фантазера.

Мы увидели обширный город, белые здания которого, симметричной и красивой архитектуры, правильными рядами тянулись вдоль прямых, как стрела, и вымощенных квадратными плитами улиц.

Посреди города высилась величавая башня необычайной формы, в четыре грандиозных этажа, причем каждый этаж положен был на нижний таким образом, что сторона его квадрата пересекала угол нижнего — получалась звездовидная форма.

Ни движения, ни людей, ничего, что бы напоминало о жизни, не было заметно.

Сон веков кошмаром висел над всем.

Вскоре мы уже шли по одной из улиц мертвого города.

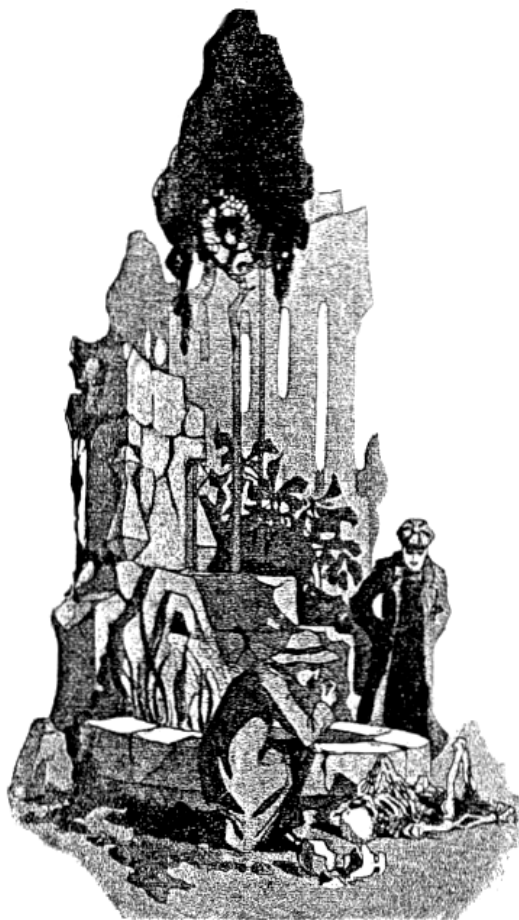
На каждом шагу нам попадались совершенно истлевшие скелеты людей. Подле некоторых из них мы находили иногда золотые браслеты, ожерелья, кольца с драгоценными камнями, и тогда можно было догадаться, что скелеты принадлежат женщинам.

Особенно заинтересовал меня один костяк около каменного водомета, по-прежнему струившего чистую холодную воду в небольшой бассейн; подле валялись черепки разбитого кувшина.

— Я думаю, — сказал задумчиво Маркевич, — что скелет принадлежит девушке. Наполнив кувшин водой и поставив его на плечо, — она собиралась идти домой; в этот момент ею овладела смертельная слабость, она упала, и кувшин разбился...

— Она могла быть и старухой, — возразил я.

— Вы ненаблюдательны, Бермутов. Взгляните на это обилие украшений — колец, браслетов и ожерелий, которые носила покойная, — и Маркевич, нагнувшись, поднял одно кольцо из матово-серебристого металла с каким-то, похожим на рубин, темно-красным камнем.



— Рубин? — спросил я.

— Да, может быть. Что касается металла, — то это платина.

Довольные результатами нашего исследования, мы успели до захода солнца осмотреть еще несколько наиболее интересных домов, кроме колоссального здания, высившегося посреди города, осмотр которого решено было отложить на завтра.

Было уже сыро по-вечернему, смеркалось, и вершины далеких гор, еще недавно бывшие розово-алыми от лучей заходившего солнца, постепенно гасли, когда мы решили возвращаться. Однако усталость и голод побудили нас сделать прежде короткий привал в одном доме, более других располагавшем к отдохновению.

Дом заключал в себе четыре совершенно одинаковых комнаты, полы которых были покрыты деревянным настилом, а стены сохранили бледные следы оригинальной живописи.

В сумраке наступавшего вечера фигуры, изображенные на стене, были плохо заметны, но все же можно было разобрать, что картина изображает какой-то большой зал и танцующих в нем девушек в красивых, цветных одеждах.

Когда же были зажжены свечи, картина предстала пред нами во всем великолепии поблекших, ветхих, но все же роскошных красок.

Лица девушек были строго симметричны, классически красивы; движения легки и грациозны.

Художник, расписывавший стены, обладал совершенной техникой, большим вкусом, знанием движения, краски, линии.

— Однако, — сказал Маркевич, — какое совершенное искусство было у этого народа.

И он был прав: картина могла бы удивить и восхитить любого современного эстета.

Обстановка комнат также отличалась стильностью и вкусом. Массивные столы черного дерева с резными ножками, такие же кресла и лежанки вдоль стен были покрыты многовековой пылью, птичьим пометом и сором. В шкафу, вделанном в стену, мы нашли оригинальную стеклянную и глиняную утварь, некоторые экземпляры которой приобщили к нашей, довольно уже богатой коллекции.

Темнота наступила так быстро, что мы даже не заметили.

Чувство жути постепенно овладевало нами при мысли, что нам для того, чтобы вернуться к своим, придется идти сперва по улицам мертвого города, а затем пробираться лесом, поднимаясь на гору.

— Заночевать бы здесь, — неуверенно предложил Бадаев.

— Конечно, куда в такую темь пойдем; — неровен час — с дороги собьемся, — поддержали его в один голос остальные матросы.

Признаться, предложение Бадаева как нельзя совпало с моим настроением; что касается Маркевича, то он даже не сделал ни одной попытки воспротивиться общему решению и сейчас же согласился, как только зашла об этом речь.

Итак, решено было заночевать в пустом доме.

Кто ни разу не был в этом положении, тот не может представить себе чувство, которое овладело нами, когда мы остались среди мертвого города, потонувшего во мраке, окруженные со всех сторон истлевшими скелетами людей, которые, казалось, взывали к нам неслышными, полными жалобы голосами; мы старались рассеяться, рассказывая друг другу занимательные истории — тесно придвинувшись один к другому и озаренные трепетным сиянием свечей, но жуть леденила наши сердца, капельку по капельке высасывала бодрость.

ОГОНЬ НА БАШНЕ

— Тушите свечи, — приказал вдруг Маркевич, смотревший все время в окно.

Мы с удивлением взглянули на него.

— Скорей тушите, — с тревогой повторил он и поспешно задул ближайшую к нему свечу.

Когда воцарился мрак, Маркевич шепотом сказал нам, указывая пальцем в окно на тяжелый массив громадного здания:

— Огонь...

Сперва мы ничего не видели, кроме величавого силуэта таинственного здания.

Несколько мгновений вглядывались мы, пока не заметили слабый мерцающий огонек во втором этаже, который медленно передвигался.

Потом огонек исчез и снова появился в третьем, а затем в четвертом этаже, где и остановился. Мы ждали, что будет дальше.

Прошло минуты три, а огонек продолжал оставаться неподвижным.

Внезапно около огонька вспыхнул синий, искрящийся свет, потом что-то повернули, и в окно башни глянул огромный огненный глаз.

Мы отскочили от окна, осененные одной и той же догадкой, и сделали это вовремя, так как сейчас же непроглядная тьма была пронизана яркими лучами прожектора, осветившими всю местность.

— Прожектор... Здесь, на вымершем острове... — вот мысли, которые обуревали нас в тот момент.

Лучи прожектора внимательно обшарили всю местность; на мгновение один из лучей остановился на нашей комнате, наполнив ее ярким, ровным светом, потом ускользнул, и мрак сомкнулся опять в непроницаемую графитную массу.

На башне по-прежнему маячил слабый, трепетный огонек. Затем огонек двинулся, исчез, появился снова в нижнем этаже и так дальше, пока не скрылся совсем.

Мы стояли, окаменев от изумления, и глядели на башню.

В городе мертвых, несомненно, были живые люди, по крайней мере, один человек.

И этот человек устроил свою жизнь так комфортабельно, что имел даже прожектор, для каких целей — это нам казалось загадочным.

Боялся ли он кого-нибудь? Имел ли основание ожидать чьего-либо вторжения в его мертвые владения? И наконец,

если это так, что заставило его жить на островном кладбище, — какое таинственное дело?

В ПЛЕНУ

Мы провели ночь, не зажигая свечей, и рано утром, когда еще вся долина была затянута синеватым флером предрассветного тумана, подкрепившись консервами и коньяком, который мы предусмотрительно захватили в дорогу, стали обсуждать дальнейшие наши действия.

Решено было исследовать внутренность башни, с вершины которой ночью посылались лучи прожектора.

Идти пришлось нам, приблизительно, минут десять. И вот перед нами передний фасад башни. Пять колонн той же странной звездовидной формы, поросших ползучими растениями и травой, которая выглаживала кое-где из щелей, поддерживали фронтон башни. Несколько мшистых ступеней вели к входу в нее.

Внутренность первого этажа не представляла ничего особенного, и после беглого осмотра мы стали подниматься по витой мраморной лестнице во второй этаж; только Маркевич и Бадаев на короткое время задержались внизу, рассматривая стенные фрески.

Осмотр второго этажа дал те же результаты, и мы начали было подниматься на третий этаж, когда я вспомнил, что Бадаев и Маркевич остались внизу. Подойдя к темному люку лестницы, я приставил ладони рупором ко рту и позвал:

— Бадаев! Маркевич!

Никто не отвечал. Заинтересованный, я спустился вниз; там никого не было.

В недоумении озираясь я по сторонам, стараясь понять, куда могли исчезнуть Маркевич и Бадаев, еще несколько минут назад созерцавшие стенные фрески.

То, о чем будет речь ниже, произошло так быстро, что я даже не успел что-нибудь сообразить. Каменная плита, на

которой стоял я, быстро и бесшумно опустилась в подземелье. В темноте меня схватили, потащили по коридору и толкнули в какую то комнату, захлопнув за мной дверь. Оставшись один, я вспомнил, что у меня есть карманный электрический фонарик, вынул его и нажал кнопку.

— Бермутов! — воскликнул кто-то. Я направил фонарь в сторону говорившего и увидел Маркевича и Бадаева, сидевших на вычурно-роскошном диване в позе самого безысходного отчаяния.

Я бросился к ним и услышал все то, что испытал лично.

— Кто эти дьяволы и что им нужно? — мрачно промолвил Бадаев, расцарапанное и окровавленное лицо которого доказывало, что он сдался после долгого и упорного сопротивления.

Конечно, мы не могли ответить, так как сами безуспешно пытались объяснить себе это странное происшествие. Придя в себя, мы при помощи карманного фонарика осмотрели наш каземат и были очень поражены, когда увидели спускавшуюся с потолка электрическую люстру.

Повернув выключатель, я осветил комнату. Роскошь обстановки удивила меня не менее, чем электричество.

На полу и стенах были восточные ковры, тигровые шкуры; по углам изящные бамбуковые столики, — этажерки с изящными фарфоровыми безделушками; качалки и кресла из бамбука дополняли остальное.

Все производило впечатление настоящего европейского комфорта, изысканно-тонкого, вычурно-роскошного.

Мы ожидали, что будет дальше.

И вот часть стены, завешанной ковром, бесшумно сдвинулась в сторону, обнаружив снабженную решеткой дверь в другую, ярко освещенную комнату.

За решеткой стоял маленький, седенький человечек, в пенсне, в сильно потертом и лоснившемся костюме, с мелким, язвительным, морщинистым лицом, на котором, вероятно, всегда блуждала ироническая улыбка. Лицо у него было такое, что даже сквозь темные стекла пенсне можно было угадать искрившееся в глазах злорадование и ехидство;

держался он утрированно-высокомерно и надменно.

Несколько мгновений он рассматривал нас с любопытством, с каким рассматривают на выставках разных премированных животных; потом повелительно позвал:

— Джемс!

Около него, словно вырос из земли, появился огромный негр.

— Как по-твоему — годятся?

— Хороший материал, г-н профессор.

— Теперь иди.

Негр моментально исчез.

Бадаев, которому вся эта комедия довольно не понравилась, угрожающе поднял кулаки и резко спросил:

— Послушайте, что за хамство — хватать людей и рассматривать их, как быков? Если вы не прекратите этой чепухи и не выпустите нас, мы начнем стрелять, — с этими словами Бадаев вынул из кармана револьвер; мы последовали его примеру.

Человек брезгливо поморщился:

— Стрелять. Да, я не учел этого обстоятельства. Но зачем стрелять? Впрочем, если вы хотите стрелять, то пострадаете прежде всего сами, так как будете убиты моими слугами, или не найдете выхода из этого подземелья, смею вас уверить..

— Вы низкий, подлый негодяй, — сказал я, с невыразимым отвращением глядя на человечка.

— Допустим. Теперь я перейду к делу и начну с того, что представляю вам: я профессор Гардер, знаменитый бактериолог Англии, два года тому назад бесследно исчезнувший, чтобы поселиться здесь и заняться учеными трудами — помните? Здесь мне удалось открыть совершенно случайно новую эпидемическую болезнь, фактором которой является большая пестрая муха, неизвестная натуралистам Европы. Представьте себе, эта ничтожная муха погубила цветущую европейскую колонию этих островов. Каково? Но продолжаю. Периодически эта муха появляется здесь в огромном количестве, и тогда все гибнет, что имеет, как мы, сердце, легкие, желудок, теплую кровь. В обыкновенные

годы она здесь довольно редкая гостя, но все же мне удалось поймать несколько экземпляров ее и произвести опыты над животными. Мышь от укуса ее умирает моментально; то же самое с более крупными животными, собакой, кошкой. После некоторых усилий мне удалось добыть из нее яд чисто лабораторным путем. Этот яд — бесконечно малые и в то же время могущественные бактерии. Они хорошо поддаются культуре и у меня имеются уже несколько банок с их выводками. Опыты с животными проделаны. Остается произвести опыт над человеком... Вы понимаете, господа? — И профессор, саркастически смеясь, отступил вглубь комнаты, стена задвинулась, и мы остались одни в ярко освещенной комнате.

Первым высказал свою страшную догадку Маркевич:

— Неужели? Неужели этот негодяй хочет произвести опыт над нами?

— Но ведь это очевидно: он сказал, что очередь за людьми, — подтвердил я.

— Значит, мы...

— Рано или поздно умрем.

— Я лучше умру, чем позволю сделать над собой подобную пакость, — решительно процедил сквозь зубы Бад-аев. И воцарилось томительное молчание. Болезненно сжималось сердце, и в сознании, в котором несколько времени назад вихрем кружились разные мысли, медленно возникла темная пустота.

Но вот какой-то неясный шум коснулся нашего слуха. Шум раздавался где-то наверху, слабо проникая сквозь массивные своды подземелья.

— Стучат? — неуверенно предположил Маркевич.

Приложив ухо к стене, мы старались разобраться в характере донесшихся звуков, но шум то удалялся, то приближался, то совершенно стихал, оставляя нас в томительной неизвестности, дразня своей неуловимостью.

И вдруг над нашими головами послышался вполне отчетливо глухой стук. Казалось, чем-то тяжелым ударили по каменным плитам.

— Наши... ищут... — прерывистым шепотом, почти за-

дыхаясь, вымолвил Бадаев.

Но стук внезапно стих, и родился снова где-то далеко неясным заглушенным шумом. И надежда так же быстро, как возникла, исчезла.

В ту жуткую минуту сердца наши бились одним темпом; одна мысль, вернее, молитва горела в нашем сознании:

— О, если бы!

И, словно отвечая на наш молчаливый вопрос, в коридоре подземелья грянул револьверный выстрел, за ним второй, третий; слышался топот бегущих ног, проклятья, стоны, шум борьбы...

— Товарищи! Мы здесь! — закричал Бадаев, неистово колотя кулаками в дверь, которая трещала под его ударами; Маркевич и я не отставали от него.

* * *

— Нас очень встревожило ваше отсутствие, — рассказывал Игреньев, идя рядом со мной, — и мы, не откладывая дела в долгий ящик, отправившись на розыски. Здесь мы встретили вот этих молодцов, которые нам и рассказали обо всем: и о прожекторе и о вашем таинственном исчезновении... Тогда мы принялись исследовать пол нижнего этажа и нашли, что под одной плитой пустота.

Мы вынули плиту и... ну, остальное вам известно. С неграми нам пришлось повозиться порядочно, а профессору предстоит... маленькое знакомство с правосудием...

Язвительный, маленький старичок, еще так недавно доставивший нам минуты настоящего ужаса, понуро шагал в сопровождении двух дюжих матросов, зорко следивших за каждым его движением.

Иногда он бросал на нас быстрые, почти неуловимые взгляды, полные ненависти и, как мне показалось, торжества и злорадства.

Через два часа мы были уже на яхте. В ярко освещенной кают-компании нас ожидал ужин, показавшийся нам

роскошным после испытанных нами лишений.

Что касается профессора, то он был заключен в отдельную каюту, дверь которой охранял часовой. Утром, на другой день, мы думали допросить его.

СТРАШНОЕ ПРИЗНАНИЕ

На рассвете яхта снялась с якоря, и вскоре только неясная, слегка синеватая линия указывала то место, где находились острова. Океан был спокоен, как поверхность горного озера.

Из пучины океана на половину выглядывало ало-золотое солнце. После завтрака в кают-компанию ввели профессора, который, казалось, ничуть не изменился за ночь и так же спокойно, как вчера, смотрел на нас своими хитрыми, коварными глазами.

— С вашего позволения, профессор, — обратился к нему по-английски Игрнев, — я задам вам несколько вопросов...

— Хотя сотню.

— Какие цели преследовали вы на вымершем острове?

— Научные.

— Если научные, то почему выбрали именно этот остров?

— Я знал о существовании на нем неизвестной эпидемической болезни...

— Знаете ли, что грозит вам за покушение на человеческую жизнь, хотя бы и с научной целью?

— Конечно, знаю: тюрьма, каторга...

Вдруг профессор громко расхохотался, и лицо его, искаженное отвратительной гримасой, сделалось необыкновенно похожим на обезьянье.

— Что значит ваш смех? — сердито спросил Игрнев.

— Извините... ха, ха, ха..., господа... но, право, это смешно... Дайте же успокоиться... Вот так... Теперь, если найдется, я с удовольствием закурил бы сигару: два года отка-

зывал себе в этом удовольствии.



Профессор с наслаждением затянулся и многозначительно взглянул на свободный стул.

— Вы устали? Подвиньте профессору стул, — приказал одному из матросов Игреньев.

— Благодарю вас. Господа, когда вы меня допрашивали и я смотрел на ваши строгие, спокойные лица, я думал:

— Неужели так могут говорить обреченные на смерть? Суд на корабле, где через три дня не останется ни одной живой души?.. Это казалось чрезвычайно смешным.

— Оставьте ваши шутки, — стараясь говорить спокойно, сказал я, тогда как Игренов и остальные продолжали сидеть в каком-то оцепенении.

— Шутки?! Вы говорите, шутки? — и дьявольский старичок, поднявшись, начал выкрикивать тонким, пронзительным голо сом:

— Знайте, что каждая пядь вашей проклятой яхты кишит моими союзницами-бактериями; каждый атом вашей одежды содержит бесчисленное множество их; все: мебель, тарелки, из которых вы едите, стаканы, из которых вы пьете — жилище моих страшных бактерий! Я рассеял их всюду — и вам не уйти от смерти! Вы обречены на смерть!! обречены на смерть!! обречены на смерть!! — продолжал выкрикивать, как помешанный, профессор, бегая по каюте.

КАЗНЬ ПРОФЕССОРА

Трудно описать то безумие, которое охватило экипаж, когда страшная истина, несмотря на все наши старания скрыть ее, сделалась известной. Рассвирепевшие матросы, не обращая внимания на окрики капитана Лубейкина, бросились в кают-компанию, схватили профессора и поволокли к мачте, где уже один матрос, сидя на перекладине мачты, мастерил виселицу.

Окровавленное лицо профессора было страшно. Когда шею его захлестнула петля, он успел еще крикнуть:

— До свиданья!!

Затем несколько пар сильных рук дружно взялись за веревку, и тело профессора быстро взвилось в воздухе, покачиваясь из стороны в сторону.

После казни ужасного старика на яхте воцарилась полная анархия. Всем розданы были изрядные порции коньяка, и пьяные матросы бессмысленно орали, циничной брабной и песнями стараясь заглушить нараставший животный страх смерти.

Я сижу в моей каюте, пью коньяк стакан за стаканом и пишу, пишу, как загипнотизированный.

У окна моей каюты появился Лебединский и, прильнув лицом к стеклу, прокричал:

— Бадаев и один из матросов скончались!!

Лебединский отошел от окна и вдруг, зашатавшись и схватившись рукой за сердце, упал на пол.

— Падучая! — сразу догадался я, увидев, как Лебединский в припадке сильных конвульсий бился на палубе.

Так вот она, таинственная, страшная болезнь! Симптомы этой болезни вполне совпадали с симптомами падучей.

К вечеру одной трети экипажа не было в живых; Игренев, Лубейкин и Грановский были тоже мертвы.

Я чувствую приступы необыкновенной слабости; в висках стучит... Пора кончать...

**БЕЗУМНЫЙ
ЛАМА**



В составе нашей экспедиции для исследования Тибета находилось двенадцать человек: начальник экспедиции — я, доктор Астафьев, географ Липский, натуралист Моранс, художник Волков и переводчик — киргиз Карагаев; остальные были слуги.

Я не буду рассказывать о всех тех лишениях, которые пришлось испытать нам за время передвижения с севера на юг. На высоких плоскогорьях Северного Тибета нас заметали снегом обычные там ранней весной бураны. Верблюды часто голодали, так как и острая, сухая трава, служившая им единственной пищей, иногда прекращалась, и тогда проходило дня три-четыре, прежде чем появлялась новая.

Глава I

На развалинах буддийского монастыря

Однажды вечером мы решили сделать привал на развалинах старого буддийского монастыря, высившегося почти на самом краю обрывистого берега Цзанбо.

С нами остановились и ехавшие некоторое время вместе тибетские купцы. После ужина, мастерски приготовленного нашим поваром, я и Астафьев, отделившись от прочих, отправились бродить по дикому берегу Цзанбо, все время оживленно беседуя о самых разнообразных вещах.

Устав бродить, мы уселись на обрыве и некоторое время молча любовались царственно-безжизненной панорамой,

окружающей нас.

Линии горных контуров, местами пластично мягкие, местами неожиданно угловатые, но одинаково красивые и полные величавого спокойствия, протянулись на ночном горизонте.

— Я знаю, полковник, вы будете смеяться, — нарушил, наконец, молчание Астафьев, — но мне кажется, что я скоро умру. У меня такое предчувствие.

Я взглянул на Астафьева — лицо серьезное.

— Полноте, — возразил я, — что за мрачные мысли. С вашим здоровьем, силой, жизнеспособностью. Ребячество!

Становилось сыро. Поговорив еще некоторое время, мы отправились на покой.

Вскоре наступила тишина, прерываемая однообразным, доносившимся снизу, шумом: это Цзанбо несла свои глинистые воды, гремя валунами и омывая утрюмые берега.

Закутавшись в бурку, я лежал шагах в двух от остальных. Ближайшим от меня был доктор. Я видел, как он закурил папиросу, и первое время огонек ее красноватым пятном выделялся из мрака. Потом взошла луна, и огонек погас.

Внутри монастыря все еще царствовал полумрак, потому что луна не поднялась еще над высокой стеной, но сквозь просветы окон лились потоки лунного сияния, придававшие всему характер прозрачности и серебристой бесплотности.

В глубине храма высились громадные фигуры трех идолов, за которыми смутно чернел алтарь. И незаметно я уснул.

Проснулся я от сильного крика. Вскочив на ноги и инстинктивно выхватив револьвер, я застал всех спокойно спящими, но там, где лежал доктор, не было никого.

Крик повторился снова. Теперь я явственно услышал, что он раздался со стороны дороги, проходившей по краю высокого берега мимо монастыря. Не теряя напрасно времени, я выскочил в одно из окон и побежал на крик. Он повторился еще несколько раз и стих.

Когда я прибежал, то увидел, что было поздно: славный доктор лежал в пыли посредине дороги с рассеченной

грудью.

Вокруг никого не было. Никого. Даже пыль не клубилась.

— Доктор, — воскликнул я, склоняясь над несчастным. — Что случилось?

Но смерть уже глядела из остекленевших глаз его, и только три слова почти шепотом вымолвил он:

— Лама... кровь... — сказал и умер.

Удивление и ужас участников нашей экспедиции, когда, разбудив, я привел их к месту происшествия, были неописуемы. Но положение вещей требовало немедленного обсуждения, и вот все мы, предварительно прикрыв труп доктора циновкой, взобрались на плоскую вершину одного утеса и, усевшись в круг, принялись обсуждать могущие возникнуть последствия. Прежде всего, надо было установить, — кто был убийца.

Это было ясно — лама. Какой-нибудь из десятков тысяч странствующих фанатиков, по целым месяцам живущих в полном одиночестве в горах и трудящихся над спасением своей души.

Но каким образом очутился доктор на проезжей дороге? Может быть, он погнался за убийцей? И почему от преступника не осталось никакого следа?

Все это были вопросы, на которые не находилось ответа.

Глава II

Мертвые англичане

Что поразило нас на следующее утро — это полное спокойствие тибетцев, когда они слышали о ночном происшествии.

«Ом мани падме хум», — торжественно прошептал старшина каравана, — седовласый высокий старик в шелковом халате, со священными амулетами на шее и руках. Слова означали: — «О, драгоценность в лотосе, да будет так».

Тело бедного доктора предали земле, и маленький холмик украшен был простым деревянным, наскоро сколоченным крестом.

Все продолжали путь в удрученном настроении духа. И не мудрено. Мы находились в чужой стране, среди полуварваров, смотревших на иностранцев, как на врагов, слабые и неспособные отразить нападения даже небольшого отряда и с ничтожными шансами на успех в будущем.

Правда, на нашей стороне было преимущество в оружии — у нас были винтовки, револьверы, много пороха и пуль.

Но для серьезного сопротивления этого мало.

Прошло два дня, и свежо еще было в памяти у всех жуткое ночное происшествие, когда случилось новое, в обстановке еще более необычайной, чем первое. На этот раз, однако, зрителями были все.

Каменистая дорога шла под гору. Был полдень. Верблюды, на которых мы ехали, гуськом спускались в долину, где круглым голубым пятном сверкало большое озеро и зеленела сочная густая мурава.

Воздух был на удивление мягкий и теплый. Далеко на горизонте, словно белый гребень легендарного чудовища, сверкал снежный горный хребет. Ехавшие впереди тибетцы внезапно остановились и начали слезать с верблюдов. По мере нашего приближения, очертания заинтересовавших их предметов стали постепенно вырисовываться.

И вскоре мы стояли вместе с остальными над шестью трупами. Вороны и коршуны невероятно изуродовали тела и разорвали на мелкие клочья одежду, но по некоторым вещам, например, по валявшимся тут же тропическим шлемам, можно было предположить, что трупы принадлежат англичанам.

По положению трупов, или, вернее, скелетов с остатками высохшего мяса и кожи, видно было, что смерти их предшествовала ожесточенная борьба.

Кто были убитые? Английские ли чиновники, туристы, ученые? — Мы терялись в догадках.

Глава III

Безумный лама

Озеро, на берегу которого мы находились, отстояло на шесть дней пути от города Шигацзе. Решено было ночевать около него. Поставили палатки. На самодельный треножник повесили котелок с водой, тогда как я и Липский отправились удить рыбу. В поисках удобного для ужения места мы зашли так далеко, что совершенно потеряли из виду стоянку.

Маленькая бухточка, к которой мы подошли берегом, казалось, была создана для ужения. Усевшись на двух больших камнях, мы нацепили на крючки куски сырого мяса и далеко забросили наши лесы.

Сзади высокой террасой возвышался поросший ползучими, стелящимися по земле деревцами берег.

Поверхность озера была так безмятежна, что падение маленькой мошки заставляло ее рябиться.

Солнце только что скрылось за вершиной похожей на разрушенную пагоду горы, и все было окрашено в розово-золотистое сияние. Изредка на воздух взлетали, охотясь за мошкаррой и распустив плавники, серебристые форели. И была тишина такая торжественная, такая необыкновенная, когда, казалось, слышен был полет самой незаметной мошки. Мне удалось поймать шесть штук довольно крупных форелей, и я готовился вытащить седьмую, когда сидевший рядом Липский выпустил удилице.

Я посмотрел на него и увидел бледное, перекошенное от ужаса, дрожащее каждым мускулом лицо.

— В чем дело? — спросил я в свою очередь, не на шутку испугавшись.

Молча указал Липский вверх на группу кустов.

И то, что я увидел там, было действительно страшно.

Два глаза, круглых, с зелеными зрачками, похожие на глаза тигра, неподвижно смотрели на нас.

И вдруг, словно внезапный выстрел, в сознание ворва-

лась догадка: «Лама, убивший Астафьева»...

Я выхватил револьвер и спустил курок. Но когда дым рассеялся, ничто не говорило о том, чтобы я ранил или убил кого-нибудь.

Только несколько веток, сорванных пульей, шурша скатились к нашим ногам.

Но непосредственно за этим из темной чащи кустов со зловещим гулом выкатился, несясь прямо на нас, громадный круглый камень.

Едва успели мы отскочить в сторону, как он, со страшной силой ударившись о камни, на которых перед тем сидели мы, раздробил их и, свалившись в бухточку, далеко кругом взбаламутил чистую голубую воду озера.

Момент был серьезный. Держа наготове револьвер, я в несколько прыжков очутился около опасного куста и раздвинул руками ветви, образовавшие род беседки.

В центре ее, полусогнувшись, стоял странный, безобразный человек.

Наружность его была кошмарна. Он был мал ростом, но плечи имел ширины необычайной, и длинные, похожие на несколько переплетенных канатов, руки, на которых грязными лохмотьями висели рукава, говорили о сверхъестественной мускульной силе.

Безобразие фигуры вполне гармонировало с лицом. Казалось, что первобытный скульптор высекал лицо это из гранита, но, испугавшись своего детища, так и не закончил работу.

Несколько мгновений мы созерцали друг друга.

Я, полный тайного трепета, но готовый каждый миг влечь пулю в его крепкий лоб, — он, тихо ворча и вращая страшными зелеными зрачками, в которых то и дело загорались фосфорические огоньки.

Заметив, что тело его слегка напряжилось, словно для прыжка, я решительно нажал собачку.

И почти одновременно страшный удар по голове лишил меня сознания.

Глава IV

Заговор

— Жив, слава Богу, — сказал кто-то, склоняясь надо мной и поднося к моим губам кружку с водой.

Я открыл глаза и увидел лицо Липского, на котором пережитый недавно ужас оставил довольно заметные следы.

Подле стояли Моранс и остальные; за ними пестрели палатки тибетцев.

— Что с ним? — еле двигая языком, спросил я.

— Мертв, как прошлогодний труп, — ответил Липский и прибавил: — Эта падаля, однако, доставит нам хлопоты, так как тибетцы смотрят на убитого, как на святого, убийство которого стократный грех.

Меня усадили на самодельные носилки и отнесли в лагерь. Шедший рядом Липский рассказывал, как он поспел в тот самый момент, когда полуживотное, оглушив меня предварительно ударом кулака, готовилось расцечь мне голову каменным топором.

— Значит, я не попал в него.

— Да, пуля ваша сорвала только его правое ухо.

Между тем наступил вечер и весь лагерь, к которому мы приблизились, запылал десятками костров. Меня положили в моей палатке на пушистый мех козы пашм. Вскоре я задремал. В полночь в палатку вошел Карагаев и осторожно разбудил меня. Оказалось, что он, случайно подслушав разговор старшины каравана с одним из тибетцев, узнал о готовящемся на нас нападении.

Тогда я послал его за остальными участниками экспедиции и, когда все собрались, сообщил им это. Решено было явно враждебных действий не начинать, но быть начеку и при первой же подозрительной со стороны тибетцев попытке перейти в наступление, надеясь на превосходство нашего оружия. Кроме того, решено было на всякий случай собраться всем в двух смежных палатках, вместо прежних

четырех.

Таким образом, в палатке, предназначенной только для троих: меня, Моранса и Липского, оказалось шесть человек.

Глава V

Верблюды исчезли

Не прошло и минуты, как вторая партия нашего отряда вернулась в сильном волнении:

— Исчезли верблюды.

Весть ударила, как молния. Превозмогая слабость и боль в членах, я поднялся и выглянул из палатки: да, — верблюдов не было. Еще недавно они лежали около нашей стоянки, а теперь ничто не говорило об их присутствии.

Дальше, на расстоянии по крайней мере двухсот шагов, смутно чернел лагерь тибетцев. Костры погасли. Была тишина.

Во что бы то ни стало, надо было немедленно покинуть стоянку, так как без верблюдов мы были беспомощны, как дети. Быстро созрел план. Все четыре палатки стояли в ряд параллельно лагерю тибетцев, и вот под прикрытием их, один за другим исчезали мы в темноте с небольшими пакетиками на спине, где заключались предметы первой необходимости.

Ползком, так близко друг от друга, что ноги одного были около лица следующего, мы передвигались вперед в темноте, скользя ладонями по густой, мокрой от росы траве. Наши костюмы совершенно пропитались ею, и было холодно и неприятно от ощущения сырости и влаги на теле.

Массив высокой горы, к которой мы ползли, между тем придвигался. Оставалось уже совсем немного, и мы были бы в относительной безопасности под прикрытием ее, когда ушей наших коснулся странный, похожий на журчание пчелы звук.

Он повторился. Потом сразу несколько таких звуков пронеслось совсем низко над головами.

Сомнения не было: характерный звук принадлежал стрелам, и стрелы эти посылались с той горы, к которой мы, ничего не подозревая, приближались.

Поднявшись и отстреливаясь, мы побежали по направлению к дороге. Несколько стрел прожужжало снова, но только одна из них слегка ранила нашего переводчика.

Не переводя дыхания, мы бежали...

Глава VI

Смерть Моранса

Убедившись, что погони нет, мы пошли медленнее. По словам киргиза, в получасе ходьбы от озера, немного в стороне от дороги, находилась покинутая буддийская часовня, удобная в смысле защиты, так как стояла на вершине почти отвесной горы. К ней вела только узенькая горная тропинка.

Вскоре киргиз свернул в сторону, ведя нас еле заметной тропинкой в густой поросли довольно высоких кустов, ветки которых беспощадно хлестали по лицу, грозя выколоть глаза.

Минут десять шли мы в абсолютной темноте, еле различая друг друга, скорее угадывая по прерывистому дыханию, пока не вышли на поляну, всю залитую лунным сиянием, на заднем плане которой высился высокий утес с часовней на вершине. Часовня вполне оправдала слова киргиза. Она была построена в виде правильного квадрата, с двумя небольшими окнами, обращенными одно на запад, другое на восток.

Для защиты часовня была удобна, так как подойти к ней можно было только со стороны тропинки.

Ночь провели бодрствуя. Утром, на восходе, когда все было окрашено ало-розовыми тонами, мы при помощи би-

ноклей и подозрных труб исследовали местность, но ничего подозрительного не удалось заметить. Решили, однако, не покидать часовни в течение суток. Я воспользовался этим временем для продолжения моих записок и описал все случившееся с нами.

К полудню всех стала томить жажда. Это обстоятельство не было учтено нами, когда поднимались в часовню. Теперь же спуститься в долину к протекавшему вблизи леса ручью было подвигом.

Тем не менее, решили бросить жребий. И жребий пал на Моранса.

Забрав наши фляги и вооружившись ружьем и двумя револьверами, он исчез в извилах горной тропинки. Когда он показался снова уже в долине и пересекал ее, направляясь к ручью, то казался маленьким и незаметным.

Мы видели, как он подошел к ручью, сел на берегу, свесив над водой ноги, и начал наполнять фляги. Одну за другой наполнял он их, пока не наполнил все.

Наконец, он приподнялся на руках и готовился занести одну ногу на берег, как, внезапно, словно поскользнувшись, снова сел.

Голова его склонилась на грудь, туловище сразу размякло, руки повисли. Прошло несколько мгновений, но Моранс продолжал сидеть.

— Странно, — пробормотал Липский, поднося к глазам подозрную трубу.

Почти сейчас же он отрывисто сказал:

— Все понятно: — из спины его торчит конец стрелы.

Прошло еще несколько мгновений, и из леса вышла, что-то неся, довольно большая группа тибетцев, направляясь к ручью.

Это что-то оказалось трупами виденных уже нами англичан. Ясно было, что тибетцы намеревались заразить ими ручей. От удачи их проекта зависела наша жизнь.

Поэтому, зарядив винтовки, мы дали по ним порядочный залп, выхвативший из их среды трех человек, остальные же с удивительным упорством продолжали двигаться к ручью, и не успели мы снова зарядить ружья, как они уже

были на берегу его и, раскачав трупы, бросили их в воду.

В отчаянии мы дали по ним новый залп, на который те отвечали целой тучей стрел, буквально засыпавших нашу часовню.

Две или три из них влетели в нее и, ударившись о стену, сломались.

Между тем — тибетцы снова скрылись в лесу, и ничто, кроме смутно различаемого шума, не выдавало их присутствия. Начиналась правильная осада. Мучимые жаждой и озабоченные грядущим голодом, мы рано или поздно должны были бы сдаться. Отдать же себя в руки варваров — было равносильно смерти.

Глава. VII

Белые волки

Наступившая вечерняя прохлада принесла некоторое облегчение: жажда перестала томить нас, но не было и ощущения голода. Коническая тень легла от горы на поляну, и только далеко на западе вершины горного хребта томно алели в лучах заходящего солнца.

По склону же горы, в кустах ползучего дерева, время от времени раздавался птичий писк, замолкавший по мере того, как сгущались сумерки. Наступала тишина.

Вместе с тишиной и сумерками, из окаймлявшего поляну леса осторожно вышли жители его — белые пушистые волки.

Сперва один. Сделав несколько нерешительных шагов и оглядевшись по сторонам, он пошел дальше, к трупу Моранса, продолжавшему оставаться все в том же сидячем положении, в каком его настигла стрела. За ним, так же осторожно и все время нюхая воздух, потянулись остальные. Подойдя к трупу и подозрительно обнюхав его, первый волк осторожно потянул его за рукав. Труп податливо и мягко упал на землю.

Тогда, убедившись окончательно в своей безопасности, волки с жадностью набросились на него и, оттащив от берега, стали терзать.

Вероятно, скоро мы будем такими же бездыханными трупами, и белые волки так же недоверчиво обнюхают, а потом растерзают наши тела, как и тело несчастного Моранса.

В углу часовни, осунувшись, сидел Липский и запекшимися губами что-то шептал.

Недвижно уставившись в одну точку взглядом, сидели остальные.

Прошла ночь, — наступило утро, а за ним полдень, и снова нас томила жажда. Сухая, раскаленная, безнадежная, как пустыня. Все кругом, казалось, было затянуто молочно-белой пеленой, за которой предметы становились смутными, неясными.

Звуки доносились откуда-то издалека, словно мы лежали на дне моря. Я вглядывался в лица моих товарищей по несчастью, но вместо лиц были какие-то расплывчатые пятна. На мгновение туман рассеивался, и все становилось ясным. И видно было усталое отчаяние.

Потом снова глаза заволакивались молочно-белыми клубами, и неясный шум снова доносился ко мне издалека, мягкий и заглушенный. Какой-нибудь более острый звук, коснувшись слуха, долго, долго звенел: птичка, должно быть, пела. В один из моментов просветления я увидел, что мой слуга, Иван, сидя на камне и опустив голову на колени, громко рыдал.

Скоро рыдания его перешли в дикий хохот, и все лицо искривилось бессмысленной и безобразной гримасой. Глаза заволокло туман и я больше ничего не сознавал.

* * *

Когда я снова открыл глаза, то увидел, что я и мои спутники лежим на поляне возле ручья, а вся поляна усеяна па-

русиновыми кителями английских солдат.

Высокий, стройный офицер приказал дать нам коньяка.

Это был английский карательный отряд, отправившийся на поиски участников научной экспедиции сэра Фостера, трупы которых сыграли в нашей судьбе такую важную роль...

МАЛЕНЬКИЙ НГУРИ



Глава 1-ая

Тревога

Нгури сидел на берегу реки и следил за тем, как старшие братья его, — Тамбэ и Мфанго, — ловили рыбу.

Он еще не принимал участия в их работе, ибо находился в том благословенном возрасте, когда целые дни проходят в беззаботных шалостях и играх, и когда солнце, лес, цветы и звери облачаются в таинственную дымку неясной детской фантазии.

Рыб было поймано много — они лежали на дне большой плетеной корзины, беспомощно раскрывали рты и били хвостами, изредка подпрыгивая вверх и шлепаясь с легким плеском обратно.

И это было так занимательно, что Нгури не мог отвести взгляда. Даже бабочки, целыми тучами летавшие над цветами, не привлекали его внимания и безнаказанно упивались сладким цветочным соком.

Иногда, взяв обеими руками наиболее неугомонную рыбу, Нгури с любопытством и некоторым страхом смотрел на то, как поднимались жабры и извивался гибкий серебри-

стый хвост, с удовольствием ощущая в руках трепет скользкого и холодного тела.

Когда же рыбе удавалось выскользнуть из черных ручонек и снова упасть в корзину к своим товаркам, то мальчик издавал восторженный крик и, растопылив пальцы, смотрел с таким удивлением, словно увидел смешное и удивительное привидение.

Нгури просидел бы так, пожалуй, вечность, если бы не громкий треск барабана, внезапно донесшийся из деревни.

— Это Цампа! — сказал Тамбэ, только что вытянувший с братом на берег невод.

Цампа, — присяжный барабанщик, — бил в барабан только при объявлении войны или для передачи важных новостей.



И Нгури знал это. Мгновенно забыв о рыбе, он стрелой помчался в деревню, местоположение которой намечалось роццей длинноствольных и веерообразных пальм, четко вырисовывавшихся на фоне полуденного неба.

Толстый добродушный Цампа с круглым, жирным, лоснившимся на солнце лицом ходил взад и вперед перед королевским дворцом, если так можно назвать строение с украшенным грубыми фресками входом и превосходившее обыкновенную негритянскую хижину только большим размером, и извлекал из своего примитивного инструмента невероятно оглушительные звуки.

Звуки эти, однако, комбинировались самым затейливым образом и представляли своеобразный телеграф, посредством которого даже наиболее глухие деревни племени Бакунда в какой-нибудь час времени узнавали о важных новостях.

Когда Цампа, наконец, умолк, из-за отдаленного холма снова раздался частый тревожный треск барабана: маленькое негритянское государство всполошилось и менее, чем через час, весть о том, что в страну племени Бакунда едет могущественный «белый», облетела все селения...

Глава 2-ая

Приговор

Старуха Ата сидела на пороге своей хижины и в лучах заходившего за пальмовой рощей солнца казалась вылитой из темной бронзы... Вот вернулись с рыбной ловли сыновья ее — Тамбэ и Мфанго.

— А Нгури? — лаконично спросил Тамбэ, принимаясь вместе с братом за незатейливый ужин.

— Нгури не приходил еще!

Только поздно вечером, когда совсем стемнело и летучие мыши неслышно замелькали в воздухе, насыщенном медно-желтым сиянием луны, вернулся Нгури.

Он получил довольно щедрый пинок за бездельное шатание по чужим дворам и весьма скудные остатки ужина, но не огорчился этим, а поспешил уписать все за обе щеки и, усевшись после за хижинной на колоде тамариндового

деревя, принялся воскрешать картины промелькнувшего дня.

Негры любят проводить большую часть ночи на порогах хижин в раздумье; не представлял исключения и маленький Нгури.

Овеянный тишиной и замороженный тихими и разнообразными голосами ночи, он припоминал все случившееся за день. А припомнить было что.

Прежде всего, затесавшись в толпу взрослых, он узнал о белом.

Отзывались о нем самым невыгодным образом, что преломилось в сознании Нгури еще более невыгодно, — детскому воображению присуще преувеличение, — и белый превратился в настоящее злое, страшное чудовище вроде деревянного, раскрашенного, с оскаленными огромными зубами фетиша, стоявшего у входа в королевский дворец.

Потом Нгури видел, как старейшие в племени ходили на совещание во дворец к королеве Мугунзе, а когда вышли, он услышал слово:

— Смерть.

И слово это произносилось всеми толпившимися на улице и перед королевским дворцом, и словно мотылек порхало от одного к другому...

Теперь все впечатления дня приняли какой-то неясный, лишенный контуров характер, и Нгури чувствовал себя среди них, как в обществе призраков.

В лунном сиянии отчетливо вычерчивались силуэты пальм, а ряды слегка остроконечных, покрытых связанными между собой листьями винной пальмы хижин, напоминали семью гигантских грибов.

Тишина нарушалась то беседой, то доносившимся издалека собачьим лаем.

С реки долетали странные, хриплые стоны: это какая-то большая ночная птица кричала в зарослях папируса, который сплошной высокой стеной заградил реку.

Глава 3-ья

Бобалла

Недалеко от того места, где сидел Нгури, в полосу лунного света вышли двое и, остановившись, начали оживленно спорить, причем Нгури слышно было все прекрасно. Это были два молодца, высокие и статные, с рельефно выступающими мускулами ног и рук, кожа на которых в лунном свете блестела, как лакированная. Так как хижина старой Аты была огорожена довольно высокой тростниковой оградой, а говорившие находились за ней, то любопытный Нгури неслышно подкрался к забору и, прильнув глазом к широкой щели, стал смотреть.

Он увидел свирепого, сильного, славившегося своей отвагой Бобаллу и барабанщика Цампу.

Бобалла, несмотря на молодость, уже много раз окрашивал свое тело в красный цвет, что разрешается только тем, кто убил врага.

— Белый будет убит, — сказал Бобалла, — белого убьет Бобалла.

— Бобалла поделится с Цампой. Белый богат, а Цампа — друг Бобаллы.

— Бобалла не враг себе: Бобалла все возьмет себе.

По тому, как действовало заявление бесстрашного Бобаллы на Цампу, можно было предположить, что добрый толстяк рассержен не на шутку.

— Королева Мугунзе уважает Цампу, — прошипел выведенный из себя Цампа.

Дальнейшие слова его были заглушены раскатистым хохотом Бобаллы, от которого, казалось, колебался легкий тростниковый забор, отделявший от собеседников Нгури.

Теперь Нгури было ясно, к кому относилось слово — «смерть», многократно повторенное в толпе перед королевским дворцом, — конечно, к белому.

Не слушая больше спорщиков и одолеваемый сном, он пошел в хижину.

Лежа на циновке и засыпая, он слушал, как брат его Мфанго монотонно и уныло пел:

— На голове короля Эзомбы развеваются перья турако. Нет тропинки в лесу, протоптанной леопардом или тяжелой ногой слона, которой не знал бы Эзомба. Сто леопардовых шкур висят на стенах дворца Эзомбы. Священными амулетами увешана шея Эзомбы. Ни один злой дух не смеет приблизиться к Эзомбе. Но вот умирает Эзомба. Как шелест папируса, в котором бродит вечерний ветер, замирают слова на устах Эзомбы. Жены плачут и плачут верные друзья Эзомбы. И роют две могилы, чтобы обмануть злого духа. И в одной могиле хоронят Эзомбу.

Нгури засыпал и последнее, что еще достигло его слуха — были хриплые крики все той же ночной птицы в зарослях папируса.

Глава 4-ая

Встреча

На другой день, рано утром, приехал белый.

Это был высокий, широкоплечий блондин с кирпично-красным лицом, на котором можно было подметить черты, характеризующие искренность, добродушие и отвагу.

Одет он был так, как одеваются обыкновенно европейцы в тропических местностях: — коротенькие, много выше колен, парусиновые штаны, парусиновая курточка с короткими рукавами, обнажавшими необычайно рельефные мускулы рук, широкий пояс и сандалии на босую ногу.

Винтовка, револьвер и патроны, размещенные в поясе, завершали его внешность.

Приехал он на красивой статной арабской лошади в сопровождении нескольких слуг: повара, переводчика и т. д.

Белый был немецкий правительственный комиссар, и звали его Густав Вернер.

Он соскочил с коня с удивительной для его сорокалетнего возраста легкостью и стоял, опираясь на винтовку, в ожидании королевы.

Вскоре показалась королевская процессия, и одновременно около Вернера, как по волшебству, выросли два стула: для него и для королевы Мугунзе.



Мугунзе несли на носилках, на которых она сидела верхом, свесив необычайно толстые ноги, а в некотором отдалении за носилками следовали женщины свиты.

Королеве можно было дать лет шестьдесят, и она была безобразна так, как может быть безобразна старая и необычайно толстая негритянка.

Но, даже при ее старости и безобразии она, по-видимому, не была чужда некоторого кокетства. Руки, ноги, шея и уши — все было украшено разными диковинными безделушками: кольцами, серьгами, браслетами и амулетами, которые в лучах восходившего солнца отливали всеми цветами радуги.

Безобразно толстые бедра были повязаны куском узорчатой и дорогой ткани, а голова чалмой, из которой торчали красивые пестрые перья турако.

В нескольких шагах от того места, где стоял Вернер, носилки остановились, и королева уже пешком, покачивая отвислыми грудями, степенно пошла ему навстречу.

— А! Ца-Зенга, — сказала она Вернеру, в свою очередь шагнувшему вперед, и заключила его, не целуя, в объятия.

Потом оба сели, и началась беседа. Королева шепотом продиктовала переводчику вопрос:

— Какие цели преследует европеец в стране Бакунду, — и тот так же шепотом передал вопрос этот на ухо европейцу.

— Белый послан могущественным белым королем, — отвечал Вернер, — с тем, чтобы передать королеве Мугунзе привет и предложение руководить культурным развитием страны.

— Народ племени Бакунду погружен в невежество и упорно отвергает помощь белых, преследуя и даже убивая их: это напрасно! Белые — носители культуры и благосостояния. Кроме того, сопротивление, оказываемое белым людям народом Бакунду, ведет только к его гибели, ибо белые безгранично могущественны.

То, что сказала по этому поводу королева, было полно осторожности и предупредительной вежливости.

Королева Мугунзе приветствует белого короля и сожалеет о том, что народ ее, находящийся в невежестве, совершает иногда поступки, неудобные белому королю.

С своей стороны она обещает внушить своему народу гостеприимство и симпатию к белым.

За все время этих необычайных переговоров толпа, окружавшая королеву и европейца, хранила торжественное молчание, изредка только вполголоса отпуская по адресу белаго то или другое замечание.

Конечно, тут же находился и Нгури, с любопытством таращивший свои и без того выпуклые глаза на белого.

Он был удивлен: белый оказался не тем фантастически безобразным чудовищем, которое нарисовало ему его

воображение, а человеком даже приятным и бесспорно интересным.

Интересно было в нем все: и костюм, и то, как он улыбался, передавая какой-нибудь вопрос или ответ переводчику, и его лошадь.

Поэтому воспоминание о подслушанном вчера ночью разговоре как-то не уживалось с тем впечатлением, которое произвел на него европеец, и вносило диссонанс в настроение Нгури.

Между тем, переговоры кончились; и обе стороны пришли, казалось, к обоюдному соглашению.

Королева была отнесена обратно, а Вернеру и его спутникам отвели просторную хижину, стоявшую совершенно отдельно от других.

До обеда, на который он был приглашен Мугунзе, оставалось еще много времени и Вернер с удовольствием растянулся на тростниковой циновке, покуривая трубку.

В просветы тонких стен проскальзывали золотистые нити солнечных лучей. Слуги его возились около хижины, привязывая лошадей к стволу тамариндового дерева, шутя с несколькими неграми, толпившимися тут же. Легкая полудремота, погрузившая мысли в какую то зелено-солнечную глубину, овладела им.

Он заснул.

Вернер спал чутко. К этому приучили его опасности, которыми всегда изобиловали его путешествия среди диких племен.

Вот почему, когда вблизи него раздался шорох, он сразу открыл глаза и приподнялся на локте.

Около его ложа, с любопытством разглядывая лежавшее у изголовья оружие, стоял на четвереньках негритенок лет одиннадцати.

Испуг мальчика был так велик, что первое время он не мог двинуться с места и молча смотрел, в свою очередь, на созерцавшего его Вернера.

— Что ты здесь делаешь? — строго спросил белый.

Слова вывели, наконец, негритенка из столбняка и, вскочив на ноги, он хотел выбежать из хижины, но был схва-

чен сильной рукой белого, уже начинавшего забавляться смущением мальчика.

— Садись, — сказал он мягко на наречии Бакунду, которое немного знал, — и рассказывай, зачем пришел в хижину и как твое имя?

— Нгури, — коротко ответил мальчик, продолжая недоверчиво смотреть на белого.

— Если Нгури пришел к белому, чтобы украсть, то это плохо, — вразумительно сказал Вернер.

— Нет!

— Вот как, — и Вернер рассмеялся, — набивая трубку табаком, — не для того, чтобы украсть?

Потом он достал из сумки пустой ружейный патрон, повертел им перед глазами Нгури и спросил:

— Нравится?

Еще бы. Нгури первый раз в своей маленькой жизни видел такой интересный предмет, и лицо его озарилось счастливой улыбкой, а рука потянулась, чтобы схватить заманчивую вещичку.

— Ага — вот где слабая струнка маленького зверька.

И, достав из сумки еще несколько патронов, Вернер высыпал их в протянутую ладонь Нгури.

— А теперь идя и приходи опять!

— Нгури придет, — и мальчик бесшумно исчез.

Глава 5-ая

Танец Королевы

Когда все были сыты (на обеде у королевы, кроме европейца, присутствовали также старейшие в племени и молодые, отличившиеся в битвах с соседями, воины, и утварь, выточенная из кокосовых орехов, была убрана, в зал вошли три барабанщика, — седые старики с сморщенными обезьяньими лицами, — и заняли место с правой стороны у стены перед своими, покоившимися на особых табуретах, ба-

рабанами.

Барабаны были сделаны просто: в отверстие, выдолбленное в тамариндовой колоде, была туго натянута буйволовая шкура.

По данному знаку барабанщики ударили сухую, частую, однообразную дробь и разом смолкли.

И тогда в полукруг, образованный сидевшими на циновках гостями, вошла королева с двумя женщинами, несшими длинную узкую доску.

Снова загремела сухая, быстрая дробь и, уже не смолкая, росла, и одновременно с нею королева начала свою странную, дикую, змеиную пляску.

Она стояла на месте, и длинные, отвислые груди ее подпирали доской служанки, чтобы они не мешали движениям, но живот, зад, мускулы ног жили, двигались и причудливо извивались. И таилась в этих движениях простая звериная страсть самки, темная и глухая, как тропическая чаща, сильная и хищная, как эластичный прыжок леопарда.

Вернеру было странно смотреть это, хотя за десятилетнее пребывание среди дикарей он и привык к их обычаям, и острая, как игла кактуса, тоска уколола его сердце.

Сразу как-то исчезли черные, грубые лица, раздвинулись тростниковые стены, умолк треск барабанов, растаяли и пропали силуэты королевы и служанок, и глазам его предстала далекая родина и милые лица друзей и родных.

Но это был только миг, краткий и случайный, и снова сухая дробь барабанов ворвалась в слух Вернера. А толстая королева безудержно плясала свой странный танец.

В открытую широко дверь дворца текла прохлада: был вечер.

Глава 6-ая

Заговор

В то время, как белый и гости королевы смотрели на ее пляску, Нгури, игравшему со сверстниками, пришла ори-

гинальная мысль: незаметно отделившись от товарищей, он тенью подкрался к хижине Бобаллы и, найдя в тростниковой стене щель, стал смотреть в нее.

Так как было еще довольно светло, и дверь хижины не была завешена циновкой, все было видно прекрасно.

В хижине были двое: сам Бобалла и также знакомый уже нам Цампа.

Они сидели на циновках друг против друга, изредка наливая в кокосовые кубки из стоявшей подле выдубленной тыквы прозрачный, чистый, как родниковая вода, напиток, отливавший в лучах заходившего солнца рубином.

Судя по несколько возбужденным голосам, напиток этот был водкой, перегнанной из сока винной пальмы.

Они оживленно болтали и все чаще и чаще прикладывались к тыкве с драгоценной жидкостью, пока сосуд окончательно не опустел.

Убедившись в этом, Цампа с сожалением щелкнул языком и, опрокинув тыкву, сказал:

— Уга!

Вслед за этим в дверь хижины просунулась черная, курчавая голова мальчишки, в котором Нгури признал сына королевской служанки Мавы — Энгуму:

— Сегодня ночью, когда филин крикнет.

— Да, — ответил Бобалла: — Бобалла знает!

Мальчик исчез.

Смерклось и в воздухе бесшумно заскользили большие летучие мыши.

Они внезапно появлялись и так же внезапно пропадали, чуть-чуть не задевая крыльями курчавой головы Нгури.

Их было много и все они были для него загадками.

Он давно привык считать их сверхъестественными существами и боялся их, как может только бояться дикарь с богатым суеврным воображением.

Глава 7-ая

Нападение

Было темно: ночь густо заткала черными нитями и небо и землю, только около хижины, где остановились белый и его слуги, изредка вспыхивали два слабых огонька: то европеец и его переводчик курили трубки и тихо беседовали.

Но оттого, что вспыхивали и слабо маячили искры трубок — эти намеки на огонь, — мгла казалась гуще и зловещее и таила в себе неожиданную опасность.

В безмолвии ночи внезапно рождались и множились неуловимые шорохи и так же внезапно, как родились, исчезали.

Порой где-нибудь, совсем близко от курильщиков, раздавалось тонкое, звенящее и жалобное жужжание: бдительный паук, может быть, поймав неосторожную муху и цепко обхватив тельце жертвы мохнатыми лапками, сладострастно сосал ее кровь.

— Мбида не заметил сегодня ничего? — спросил Вернер.

— Нет!

Вернер помолчал немного, разбираясь в нахлынувших на него мыслях. А мысли были тревожные, неприятные, и как ни хотелось избавиться от них, они все же лезли в голову, царапали мозг, заражая его жутью и смутно сознаваемым страхом.

Причина его тревог заключалась в следующем. Совершенно случайно глаза его заметили несколько возбужденное настроение, царившее среди бакунду.

Он подметил, кроме того, несколько многозначительных взглядов в его сторону и это как-то само собой заставило сердце его биться несколько быстрее, чем обыкновенно, а сердце часто бывает точным барометром грозящей опасности.

Вот и все. Теперь, когда природа была обезличена, молчала и жила своей особой интересной жизнью, все эти страхи как бы претворились в действительность и образы, соз-

данные возбужденным воображением, зароились во мгле и заговорили ночными жуткими голосами.

Внезапно где-то далеко раздался резкий крик филина, и было что-то в этом крике, что заставило Вернера вздрогнуть. Он встал и прислушался. Но была тишина, полная шорохов, глубокая и бархатная. И вот, когда прошло еще несколько звенящих мгновений, отмеченных биениями сердца, около Вернера неожиданно выросла маленькая фигурка.

Вернер догадался:

— Нгури?

— Да, — был ответ, и мальчики быстро и тревожно зашептали:

— Белый господин пусть бежит: белого господина убьет Бобалла. Бобалла сейчас будет. Скорей, скорей!

И мгновенно Вернеру все стало ясно. Не теряя ни минуты, он бросился в хижину и, растолкав спящих, объяснил им, в чем дело.

Вмиг все были на ногах.

Лошадям, привязанным к росшему около хижины дереву, также передалась общая тревога и они в беспокойстве заматались на месте, пытаясь порвать привязь и изредка тихим жалобным ржанием нарушая тишину.

Но было поздно. Не успели отвязать лошадей, как из мрака вынырнула одна рослая фигура, за ней другая, и через мгновение Вернер и спутники его были окружены несколькими бакунду.

Все смешались в общей свалке, и казалось, что сами те же ночи схватились между собой, — так неясны и смутны были фигуры борющихся людей, так непроницаемо густо было черное покрывало мрака.

Ни одного выстрела. Работали холодным оружием. И только хриплый стон кого-нибудь из борющихся свидетельствовал о том, что кому-то нанесен смертельный удар.

На долю Вернера пришелся рослый могучий бакунду. Это был Бобалла! Сжав друг друга в стальных объятиях, они катались по земле и шансы их колебались.

То бакунду оказывался наверху, то белый.

И когда бакунду оказывался наверху, Вернер чувствовал, что еще немного и силы его будут истощены, рука бакунду с кинжалом освободится и...

Но Вернер знал бокс. Он знал также, что если ему удастся вскочить на ноги и отбежать немного, победа будет на его стороне.

В один из моментов борьбы он почувствовал, что руки бакунду, сжимавшие его стан, на мгновение ослабели.

Резким движением корпуса вывернувшись из-под него, Вернер вскочил на ноги и отбежал.

Но в следующее же мгновение он снова ринулся на поднявшегося бакунду и нанес ему страшный удар в нижнюю часть живота.

И тот с глухим стоном, широко взметнув руками, повалился замертво на землю.

Между тем, спутники его справились с остальными, отделавшись незначительными ранами, и, отвязав лошадей, торопливо садились на них.

Вернер собирался уже, в свою очередь, вскочить на коня, когда вспомнил о Нгури.

— Нгури! — тихо позвал он.

Из мрака выделилась маленькая стройная фигурка.

— Подойди ближе, — приказал Вернер.

И когда Нгури подошел, он наклонился, поднял его, как перышко, с земли и, посадив перед собой в седло, пустил скакуна вскачь.

ЛИЦО ПРЕДКА



Тому, кто, прочтя мой рассказ, иронически усмехнется и скажет: чепуха, — посвящаю это маленькое предисловие. Милый, симпатичный скептик, в природе есть много дверей, и двери эти заперты великим ключарем — Богом. Подобно взломщику, ночью, осторожно ступая, крадется философ к запертым дверям: в руке связка отмычек... Откроет ли он эти двери мыслями-отмычками? И если откроет, найдет ли он то, к чему стремился — истину? Автор извиняется перед вами, милый скептик, за то что он взламывает «запертую дверь» не с такой чистотой, как профессиональный взломщик-философ. Может быть, он украсит голый остов научной мысли пестрыми лентами метафор, как это делают с цирковыми пони когда ведут их на прогулку...

Простите ему, читатель.

Как все молодые художники, Астров перебивался с хлеба на квас и вечно нуждался в деньгах. В то время, когда случилось с ним то, о чем речь ниже, он бегал по различным редакциям, предлагал иллюстрации, выклянчивал, где мог, авансы, — неутомимый, упорный, вездесущий. Несмотря на то, что он был, бесспорно, талантлив, многие из его более бездарных коллег и некоторые безусые «начинающие» презрительно говорили о нем: «Астров? — Талантливая бездарность». И Астров, надо отдать справедливость, не представлял исключения. Так же, как и другие, он пренебрежительно отзывался о рисунке какого-нибудь художника, находя тот или иной технический недостаток.

Словом, все складывалось таким образом что из Астрова рано или поздно должен был получиться превосходный техник-иллюстратор и бедный творческим гением художник. Атмосфера сплетни, профессиональной зависти, заботы о деньгах и ночи в ресторанах, воздух которых отравлен дымом сигар и винными испарениями, — неизбежно должны были разрушить его.

В конце апреля Астров шел по Невскому, направляясь в одну редакцию, где должен был сдать рисунки. В поношенном демисезонном пальто, с черной фетровой шляпой на голове, высокий, красивый, он, несмотря на бедность наряда, обращал на себя внимание шикарных деми-монденок, лощенных англазированных денди и прочих завсегдаев Невского, которых можете встретить в любое время дня и ночи.

Но Астров ничего не замечал, поглощенный своими мыслями, и слегка удивился, когда внезапно увидел перед собой желтую вывеску журнала. Был вечер, и в кабинете редактора горело электричество, свет которого, смягченный зеленым абажуром, окрашивал все в теплые зеленые тона.

Редактор сидел за письменным столом, положив ногу на ногу, курил сигару и медленно, словно опасаясь сказать что-нибудь лишнее, говорил о чем-то с полным, высоким темнолицым господином, сидевшим по ту сторону письменного стола и внимательно слушавшим его.

— Принесли рисунки, Астров? — спросил редактор, обрывая беседу с темнолицым господином, который с любопытством взглянул на вошедшего художника.

Астров показал.

— Настроение схватили... очень мило... — говорил редактор, рассматривая лежавшие перед ним иллюстрации.

Потом, обратившись к своему собеседнику, сказал:

— Это наш иллюстратор, г. Астров, познакомьтесь.

У темнолицего господина была странная фамилия — Натэр. Астрову показалось, что он уже где-то встречал это имя, но где, не мог вспомнить.

Лицо у Натэра было тщательно выбритое, подбородок энергичный, нос крючковатый, опускавшийся на верхнюю

губу, глаза черные, пронизательные... От всей его внешности веяло грубым, резким и в то же время приятным. Настоящий шкипер, — определил его Астров. Когда он стал прощаться, Натэр поднялся также и, пожимая редактору руку, сказал:

— Итак, Андрей Павлович, пока до свиданья. Об остальном поговорим в другой раз. Я надеюсь, что нам удастся провести это дело.

— Вы очень заняты? — спросил Натэр, когда они вышли на улицу.

— Нет.

— Тогда поедemте в какой-нибудь ресторан. Я чувствую сегодня томление духа. Весенний воздух меня всегда расслабляет.

Астров замялся.

— Ну, как вам не стыдно, — догадался тот, — я вас приглашаю, следовательно, вам незачем думать о деньгах... и потом, видите ли, мне надо поговорить с вами кое о чем.

Натэр подозвал таксомотор и, впустив сперва Астрова, вскочил сам, захлопнув за собой дверцу. Автомобиль бесшумно помчался по Невскому, подавая сигналы.

Пока они ехали, Натэр успел рассказать о том, что недавно в Петербурге, очень скучает, богат, приехал хлопотать об утверждении акционерного общества, и что в последнем отношении редактор Андрей Павлович Синягин обещал оказать ему некоторое содействие.

— Впрочем, все это меня очень мало интересует, — неожиданно заключил он, когда автомобиль остановился у подъезда фешенебельного ресторана.

— Итак, слушайте внимательно, — говорил Натэр немного захмелевшему Астрову: — Все, что я скажу, может показаться нелепым, странным, утопичным. Но не перебивайте, не удивляйтесь и слушайте. С некоторого времени я почувствовал в себе присутствие другого незнакомого человека, который совершенно не считается с моими желаниями и деспотически заставляет меня делать все то, чего я не хочу. Никакого психоза здесь не может быть, так как я совершенно здоров. Я потерял себя, и этот второй человек сделался мной. Однажды, когда он заявил о своем присутствии, я был совершенно один в моем кабинете. Сгущались сумерки. Я подошел к зеркалу взглянуть на себя и почувствовал неописуемый страх: в нем отражалось другое лицо, уродливое, каменное, звериное. Я потрогал его руками, и пальцы мои нащупали звериные челюсти, маленький, покатый лоб, плоский нос. И с тех пор каждый вечер, каждый вечер...

— Любопытное явление, — пробормотал Астров.

— Когда я увидел вас, я подумал, что вы могли бы, если не побоитесь, наскоро зарисовать лицо этого человека... Мне кажется, тогда он оставит меня... Я заплачу вам очень хорошо.

— Уверены ли вы, что лицо ваше меняется?

— Совершенно. Когда устроим сеанс?

— Хоть завтра.

— Только заметьте, что вы должны приехать ко мне до девяти часов вечера; лучше всего часов в семь... согласны? Тогда же поговорим и об условиях вознаграждения.

Астров ехал домой на Васильевский остров в нанятом его необычайным клиентом автомобиле и думал:

— Сомнения нет: маньяк или просто сумасшедший. Странно только, что производит впечатление здорового человека.

Невольно мысли художника потекли по совершенно новому руслу:

— Почему маньяк? Может быть, метаморфоза Натэра совершенно реальна. Какой-то философ сказал, что постоянная осязаемая внешность вещей — обман, и что под нею

скрывается подлинная сущность — вещь в себе. Вообще, он странный человек, этот Натэр.

* * *

Утром, едва Астров встал, его позвали к телефону.

— Здравствуйте, г. Астров, — говорит Натэр. — Не забудьте того, о чем условились вчера. Итак, в 7 часов вечера.

Астров повесил трубку и возвратился в комнату.

— Ужасно глупо все это, — думал он с кислой миной, прожевывая плюшку и запивая чаем. — Галлюцинации какие-то преследуют человека, а ты изволь писать с них. Чистейший вздор.

Но в семь часов вечера Астров надел новый костюм и поехал к Натэру. Натэр занимал квартиру на Разъезжей, в бельэтаже большого нового дома. Он сам открыл дверь и, заметив легкое удивление в лице Астрова, сказал:

— К этому времени я всегда отсылаю прислугу.

Он ввел Астрова в гостиную, поразившую художника большим вкусом обстановки, сел в кресло и, подвинув художнику другое, предложил папиросу.

Несколько мгновений они курили молча.

Молчание нарушил Астров:

— Я думал над тем, что с вами происходит и затрудняюсь объяснить материю явления... Уверены ли вы, что это не следствие переутомленных нервов?

— Не буду доказывать вам, — сказал, слегка нахмурившись, Натэр, — вы убедитесь сами. Кстати, с вами альбом и карандаши? Прекрасно. Не пугайтесь и работайте, как только наступит время.

По мере того, как приближался час жуткой метаморфозы, оба становились молчаливее и только изредка роняли отрывистые фразы, еще более подчеркивавшие тишину вечера. В углах гостиной уже сгустились сумерки.

На мгновение Астров отвернулся и посмотрел в окно на меланхоличное вечернее небо, по которому медленно плы-

ли бледно-розовые облака...

Тихий стон заставил его обернуться, и Астров в первый раз почувствовал настоящий, всепоглощающий, холодный страх, от которого сердце забилося с безумной быстротой и каждый атом тела нервно затрепетал. Первым движением художника было бежать; потом он нечеловеческим усилием воли принудил себя остаться, взять альбом и карандаш.

Против него в кресле сидел другой. Каменное асимметричное лицо с парой тупых звериных глаз, с плоским носом над вздернутой кверху губой, покатым, низкий гориллий лоб, короткая шея, в которую вросла голова с маленьким угловатым черепом. Стальные глаза смотрели на Астрова, не мигая, и не было в них ни мысли, ни впечатления.

Астров писал машинально, почти не отрывая глаз от страшной маски и чувствуя, как постепенно железная цепь зависимости сковывала его волю.

Рисунок был уже почти готов: оставалось только отдедать некоторые детали.

— Как подвигается ваша работа? — Натэр сидел, как прежде, в кресле и улыбался.

— Ужасно, — прошептал художник, откладывая в сторону папку, — я никогда не поверил бы, если бы не убедился сам.

— Вот видите, — сказал серьезно Натэр, закуривая папиросу. — В природе есть многое, что еще недоступно пониманию человека... Однако, покажите ваш рисунок.

Натэр зажег электричество и при ярком свете люстры с напряженным вниманием стал рассматривать набросок.

— Теперь напишите большой портрет красками. Что касается вознаграждения, — я заплачу вам пять тысяч — две сейчас, а три после того, как окончите работу... Принимаете мои условия?

— Да, условия подходят, — медленно произнес Астров, невольно думая о том, не продешевил ли он, согласившись на предложенное вознаграждение.

— Портрет должен быть готов через две недели, — напомнил Натэр, когда Астров уходил. — Недели через три

думаю уехать за границу и там немного полечиться. Да и вообще надоела мне Россия. Я не русский... ничто меня не привязывает. Ликвидирую дела и уеду. Итак, не забудьте, через две недели.

Астров от Натэра поехал не домой, а в один средней руки ресторан, где в определенное время собирались сливки петербургской богемы.

Там встретил он и толстого, вечно веселого и пьяного Угодова, фельетониста большой бульварной газеты, и длинного, как верста, поэта Вершинина, который очень гордился тем, что печатался в хороших еженедельниках, и многих других.

— Вот он — гордость России, — пробасил Угодов.

— Гордость-то сомнительная, — загадочно улыбнулся Астров, — а шампанским вас угощу, — и, подозревая лакея, торжественно заказал:

— Дюжину шампанского.

— Да ты сегодня при деньгах, — удивился Вершинин.

— Наследство получил, что ли? — предположил Угодов.

— Не все сразу. Дайте вздохнуть, — и Астров рассказал о овоем странном приключении.

— Ну, батенька, — выдохнул воздух художник Арельский, — если бы не *corpus delicti* в виде изрядной суммы денег, ни за что не поверил бы... Это какая-то сказка из «Тысячи и одной ночи».

Шампанское быстро подняло температуру собутыльников.

— В природе, — говорил Угодов, завладев вниманием, — есть законы. Лицо, которое показал Астров, лицо первобытного человека-зверя. А первобытный человек — наш отдаленный предок. Значит, человек, деспотически вселившийся в этого чудака, имя которого Астров не хочет назвать, и есть его предок.

— Это утопия, — возразил Вершинин, залпом выпивая

бокал шампанского.

— Разве жизнь не утопия? — отразил нападение Угодов, — разве вы все здесь, заседающие и пьющие на чужой счет, черт бы вас побрал, нечто большее, чем намеки на реальное? Эх вы, позитивисты.

Астров работал прилежно, и портрет был готов до положенного срока. За это время он ни разу не виделся с Натэром, не говорил с ним даже по телефону. И его несколько удивляло молчание последнего. 8-го мая, в 12 ч. дня, Астров с готовым портретом поехал к Натэру.

Когда извозчик подкатил к подъезду того дома, где жил Натэр, Астров увидел роскошный катафалк и целую вереницу автомобилей и экипажей.

Жуткое предчувствие кольнуло его сердце. Расплатившись с извозчиком, художник с картиной в руке вошел в подъезд.

— Кто умер? — спросил он у швейцара, который с торжественно-серьезной миной то и дело распахивал двери перед новоприбывшими.

— Г-н На-тэр, — ответил швейцар, роясь в ящике письменного стола: — письмецо тут они за день до смерти вам оставили... Извольте получить.

Машинально вынул Астров портмоне, дал швейцару рубль, сделал два шага к лестнице, постоял несколько мгновений и медленно пошел к выходу, опустив голову. В дверях он столкнулся с ксендзом, постно-смирненное, бритое лицо которого сразу вернуло его к действительности.

Астров подозвал ваньку и приказал ехать в один ресторан, где днем и ночью играл оркестр. Ему хотелось забыться, опьянеть, погрузиться в хаос согласных, влекущих звуков, ослепнуть от электричества, оглохнуть от пьяного галла, смех и песен. Там он заказал бутылку вина и только после того, как выпил два бокала, распечатал письмо Натэра.

«Астров!

Перед смертью я должен вам сообщить нечто, касающееся и вас, и меня, и портрета, и всех людей. В каждом человеке есть два человека — человек настоящего и человек прошлого. Человек прошлого собирательная величина.

Составные части и его, человека прошлого, по-видимому, не отличаются особым качеством. Все мои предки были преступниками, и наследственность соединила во мне наиболее низменные элементы их душ. Но перехожу к более важному.

В молодости «человек прошлого» заставил меня совершить несколько крупных преступлений, в том числе одно убийство: теперь он вынуждает меня покончить земные счеты.

Астров, если бы вы знали, как мне тяжело. Сейчас, когда я пишу вам, «он» овладевает мною, меняет лицо, искажает его в отвратительную гримасу. Мне хочется быть в сладострастном страхе, царапать грудь, рвать на себе платье.

Кстати, портрет можете оставить себе, а недостающую сумму вы получите по вскрытии завещания, где я вам оставляю три тысячи. Вместе с портретом я завещаю вам «этого человека», которого прошу нигде не выставлять и беречь, как воспоминание обо мне. Не забудьте — к а к в о с п о м и н а н и е о б о м н е».

Слава капризна и легкомысленна, как шаловливый ребенок, сознающий свою миловидность и ускользающий от поцелуя.

Астров, находившийся до знакомства с Натэром в неизвестности, после смерти последнего как-то сразу, без всякой последовательности, пошел в гору и этим был обязан своему странному портрету. Два дня всего висел портрет в зале передвижной выставки, а уже повсюду в обществе, пе-

части, в кругах литераторов и художников шумели толки об Астрове и его удивительном произведении. Создавались легенды одна другой удивительнее относительно происхождения портрета, чему способствовали перевернутые отчасти сообщения товарищей Астрова.

Факт, однако, оставался фактом: имя Астрова сделалось неимоверно быстро известным. Не прошло и недели, как банкир Мендельсон вступил с ним в переговоры о приобретении картины. Банкир снизошел даже до того, что приехал к нему лично.

Старый толстый подагрик с багровым лицом, с тусклыми рачьиными глазами — он, стиснув гнилыми желтыми зубами дорогую сигару, сидел против Астрова и с медлительной важностью говорил:

— Я понимаю, г-н Астров, — картина очень хорошая, и не думаю оспаривать очевидного, но, согласитесь, и сумма, которую вы просите за нее — не маленькая. Вы знаете, что значит пятнадцать тысяч для опытного биржевика? Подумайте и уступите за десять.

— К сожалению, я не могу ничего уступить, — холодно возразил Астров.

— Ну, как вам угодно, — вряд ли найдете более подходящего покупателя, — сказал банкир, направляясь к выходу.

А на другой день к Астрову приехал управляющий Мендельсона и заплатил ровно пятнадцать тысяч.

Портрет Натэра повешен был в гостиной банкира и восхищал его гостей, которые удивлялись необычайному лицу и сверхъестественной силе и живости ужасных глаз. Никто и не подозревал, что портрет этот является лишним доказательством того, что в мире ничего нет вечного, ничего, что бы запоминалось.

Астров забыл о предсмертном желании загадочного Натэра и, словно щепка, которую увлек водоворот, закружился в хаосе удовольствий и кутежей.

Однажды, после того, как прошел угар попоек и бессонных ночей, Астров сидел в своем ателье перед мольбертом и писал картину «Александр Македонский убивает царедворца Клита». Все уже было готово: роскошный зал в древнегреческом стиле, фигуры испуганных придворных, сам Александр, в порыве бешенства вонзающий дротик в грудь верного Клита, спасшего царя в одной из битв от неминуемой смерти; оставалось только отделать лицо падающего Клита.

Астров несколько часов работал, не выпуская кисти. Какое-то необычайное вдохновение, которого у него раньше не бывало, водило его рукой.

Вдруг он слабо вскрикнул, выпустил кисть и несколько секунд стоял в каком-то столбняке, чувствуя, как холодные мурашки медленно ползли по спине: не лицо Клита глядело на него, а знакомое, уродливое лицо портрета с непреклонными, стальными глазами медузы.

И с тех пор, что бы ни начал Астров писать, рука его, водимая посторонней волей, неизменно создавала одно и то же лицо, страшное лицо второго Натэра, — с холодными, живыми глазами, отравленной иглою вонзавшимися в душу художника.

Слава, которая улыбнулась Астрову с такой капризной непоследовательностью и сказочной быстротой, так же быстро и покинула своего избранника, чтобы отыскать новую жертву. О художнике, который повторялся, говорили все меньше и меньше, пока не забыли окончательно.

Загадочна судьба Астрова, и многое из того, что произошло с ним, хранит на себе след глубокой тайны. Но, как песчинки на морском берегу, с каждой новой нахлынувшей волной меняющие свое положение, непостоянна жизнь людей, и новая волна времени умчит в вечность и Астрова, и его современников, и тайну его трагической судьбы.

КОЛЕСНИЦА ДЪЯВОЛА

Глава I

Это были мрачные дни, о которых я не стал бы говорить, если бы случай, являющийся предметом моего рассказа, не произошел именно в эти дни всеобщего отчаяния и жутких предчувствий.

Я помню, что вышел на улицу в половине седьмого часа. Смеркалось. Густой туман медленно полз, лепясь к силуэтам огромных домов «улицы Сомнения», похожей на мифическое чудовище древности, жуткий и таинственный.

Сквозь зыбкую, молочно-серую толщу его струился свет огромного зарева, охватившего полнеба: горел королевский дворец, подожженный еще накануне мятежными войсками. Где-то совсем близко от меня такали пулеметы, грохали, потрясая стекла домов, пушечные залпы, и с «Площади Террора» долетал ко мне грозный рев народной толпы. Это был необычайный вечер.

Граждане, охваченные ужасом, любопытством или гневом, густыми потоками стремились к центру столицы, бросая в туман странно зловещие крики. Темные окна домов говорили о смерти, призрак которой висел над городом. Волны бегущих людей, подхватив меня, как щепку, несли вперед, навстречу неизвестному. И я бежал, натыкаясь на тела убитых королевскими наемниками борцов за свободу. В муках и предсмертных столах лучших людей рождалась наша свобода. То был зловещий вечер, и мне тяжело вспоминать о нем.

Глава II

Выброшенный потоком на площади «Террора», я смутно увидел море голов, колыхавшееся в густом тумане. Грозный гул десятков тысяч возбужденных голосов, то усиливаясь, то ослабевая, висел в тяжелом и сыром воздухе. Не горели фонари. Центральная электрическая станция, снаб-

жавшая энергией весь город, была оставлена рабочими, примкнувшими к восстанию, поднятому войсками. Только кое-где, высоко над толпой, пылали факелы. Но свет их не мог рассеять тумана и мрака. Напрягая зрение, я увидел силуэт человека, взбиравшегося на памятник Оттона XI.

Когда человек уселся наконец на широкой спине огромного бронзового коня, рядом со всадником, он жестами попросил только замолчать и начал:

— Товарищи! Наше дело еще не закончено: отрекшийся от престола палач лелеет страшную месть. На его стороне часть продажной полиции и преступный ученый инженер Рок, своими ужасными изобретениями столько лет питавший кроважного бога войны и ужаса. Товарищи, я узнал, что им построена чудовищная машина, против которой бессильна живая человеческая сила и все чудеса современной техники. Сейчас я получил известие, что эта машина, это орудие дьявола носится по окраинам города, давит и режет людей. Призываю вас, поэтому, к спокойствию и мужеству, без которых гибель революции неизбежна.

Человек на бронзовом коне замолчал. Молчала многотысячная толпа. И помню, что ужас остановил биение моего сердца.

На могу сказать, как долго длилось это страшное молчание. Внезапно с западной стороны, с улицы «Шамбора», раздался короткий, как вспышка бензина, многоголосый крик. Затем началась давка, стихийная, безудержная, насыщенная ядом стадного страха. Снова подхваченный могучим человеческим потоком, я бросил быстрый взгляд в сторону «улицы Шамбора» и увидел черный силуэт, достигавший в высоту не менее трех этажей, а в длину имевший, по крайней мере, саженой десять-двенадцать. С громким пыхтением и пронзительными воем он прокладывал себе путь в живой человеческой толпе, оставляя позади себя трупы убитых и раненых, сопровождаемый воплями ужаса, бешенства и предсмертными стонами. Людские волны выбросили меня на гранитный цоколь памятника, и я лишился на мгновение чувств.

Когда я открыл глаза, то увидел, что площадь была пуста, если не считать трупов, а совсем близко от памятника высился силуэт огромной, похожей на ящик машины. Вся из толстой сплошной стали, она в нижней части своей, у невидимых колес, была снабжена огромными кривыми ножами, которые, вращаясь во время движения, мололи густую человеческую массу, подобно котлетной машинке.

Незаметный в тени, отбрасываемой памятником, я с ужасом смотрел на адское изобретение инженера Рока.

Внезапно из нижней части стального чудовища вырвался клуб синевато-белого дыма, и она сдвинулась с места, пыхтя и шипя, как огромный допотопный зверь, но вскоре остановилась. Внутри, за стальными стенами, возникла суматоха. Снова клуб сине-белого дыма, тяжелая мощная работа моторов...

Однако, машина на этот раз вовсе не тронулась с места.

Я догадался:

Механизм ее, не выдержав титанической работы, испортился.

Одновременно со всех сторон послышались выстрелы, и толпы народа, оглашая воздух победными криками, хлынули на площадь, стремясь к преступному творению инженера Рока.

Так погибла последняя, самая страшная, попытка реакции.

Приложения

Уилбур Д. Стил

ЖЕЛТАЯ КОШКА

Пер. с англ. Вал. Франчича



I

Когда я прочел в отделе морских новостей заметку о том, что вблизи острова Блок пароходом «Меркурий» была замечена оставленная людьми шхуна «Эбби Роз», я невольно вспомнил об одном случае, когда и мне пришлось побывать на подобном же судне. Я — далеко не ми стик, но хорошо помню, что мне было жутко слушать даже при ярком солнечном свете, как шумят, напрягаясь, паруса покинутой шхуны, как скрипят ее снасти... Я помню, что эхо наших шагов на безлюдной палубе навело меня на мысль о шагах призраков, которые, быть может, бродят по судну ночью. Однако, вместо призраков, мы нашли только зеленого попугая в клетке, висевшей на стене капитанской каюты. Как тогда, так и теперь, все было найдено на шхуне в полном порядке, вследствие чего мысль о какой-либо катастрофе сама собой отпадала. Но в последнем случае меня поразило еще одно обстоятельство. В заметке сообщалось

дальше, что доставить шхуну в порт было поручено капитаном «Меркурия» двум: Стюарту Мак-Корду, второму помощнику, и матросу Бьернсену. Прибыл, однако, Мак-Корд, заявивший, что Бьернсен, вероятно, упал в море во время ночной вахты.

Стюарт Мак-Корд! О, я хорошо знал этого человека и неоднократно, разъезжая по делам пароходства, проводил с ним время в кабачках тропических стран. Но, несмотря на то, что Мак-Корд слыл превосходным моряком и много раз управлял суднами, заявление его показалось мне странным.

Знал я также и Бьернсена, старого морского волка с криковыми крепкими ногами, слишком знакомого с морем, чтобы, благодаря простой случайности, упасть за борт. Все эти мысли пришли мне в голову в то время, как старик-лодочник перевозил меня с берега на «Эбби Роз». Был вечер. Когда лодка подплыла к шхуне, я заметил огонек сигары у дальнего паруса и громко окликнул:

— Эй, Мак-Корд!

Огонек двинулся и поплыл над палубой в мою сторону.

— Кто здесь? — раздался голос Мак-Корда.

— Риджвэй, — ответил я.

— Боже милостивый! — воскликнул он, стараясь разглядеть меня во мраке, — я рад вас видеть, Риджвэй! Честное слово!

И через минуту мы уже сидели с ним в каюте, попивая старый ликер.

Говоря с Мак-Кордом, я всматривался в обстановку каюты, пытаюсь дать себе отчет в том странном впечатлении, которое она на меня произвела.

И, наконец, вспомнил.

— Скажите, Мак-Корд, не висела ли здесь на стене клетка с попугаем?

— Нет. В чем дело?

— А в том, что шхуна эта уже была однажды в подобном положении, но звали ее тогда «Марионеткой» из Галлифакса... С тех пор прошло четырнадцать лет.

— Это меня не удивляет, — тихо вымолвил Мак-Корд, — после того, что я здесь видел и слышал... Так вы говорите, попутай? Нет, Риджвэй, на этот раз была кошка. Желтая кошка.

— Где же она теперь?

— Исчезла. Испарилась. Это был сам дьявол в образе кошки.

— Мак-Корд, — откровенно сказал я, — вы пьяны. Что могла сделать кошка? Не упала же она за борт, как Бьернсен?

Я остановился, заметив, как жутко блеснули глаза Мак-Корда.

— Что вы знаете об этом деле вообще и в частности о Бьернсене? — спросил он, глядя на меня в упор.

— Только то, что было в газетах.

— Глупости, Риджвэй. В заметке говорится, что никаких бумаг найдено не было, тогда как я, — он кивнул в сторону соседней каюты, — нашел там под матрасом дневник капитана... И знаете, Риджвэй, о чем пишет в нем этот человек? О китайце. Китаец этот преследует его, как страшный кошмар... Весь экипаж заражен непонятным страхом перед китайцем, который, по мнению капитана, способен делать самые невероятные вещи. Но послушайте, однако, самого владельца дневника...

Мак-Корд взял с полки большую в кожаном переплете тетрадь, перелистал несколько страниц и, найдя нужную, прочел:

«Август 2. Первая половина дня переменчивый юго-западный бриз...»

И так далее — вот, однако, говорится о китайце.

«Все может случиться с человеком на море, даже смерть. Особенно подозрительным и ненадежным кажется мне этот китайский варвар...»

— Но поищем более интересных мест. Вот:

«Я доберусь, наконец, до этого желтокожего. Никогда не слышу, как он подходит ко мне в своих мягких туфлях. Повернулся и увидел его сзади себя. Мог ударить меня кинжалом в спину.»

“Смотри!” — сказал я, схватив его за ухо; это заставит его ходить громче. Ведь он мог убить меня!»

— Дальше, — сказал Мак-Корд, закрывая тетрадь, — последовательно описывается возрастающая постепенно паника, исчезновение револьверов... Обрывался дневник на том месте, где у капитана пропало оружие.

— Что же вы думаете об этой истории?

— Я думаю, что китаец всех убил и выбросил за борт.

— И те вернулись, чтобы выбросить китайца?

— Нет, — странно усмехнулся Мак-Корд, — он остался на судне. Вы заметили, что в дневнике нигде не говорится о желтой кошке...

— Мак-Корд, — воскликнул я, — какого черта стал бы он писать о кошке? Почему же, по вашему мнению, он не писал об этой глупой кошке?

— Почему не писал? Потому, что в то время она не была кошкой.

— Ну, мне пора, — сказал я, поднимаясь и глядя на часы, — иначе я просплю и не явлюсь завтра во время в контору.

Мак-Корд ничего не ответил, но рука его потянулась к бутылке. Схватить ее и выбросить в окно было для меня делом двух-трех секунд.

— Теперь, — заметил я, — вы или отправитесь со мной на берег, или ляжете спать. Вы пьяны, Мак-Корд, пьяны. Слышите ли вы меня?

— Риджвэй, — вымолвил тихо, очень тихо Мак-Корд, — вы дурак, если видите только это. Я не пьян. Я слаб. Я не спал подряд три ночи; не могу уснуть и теперь. И после этого вы смеете говорить... вы... — Он вскочил и закричал на меня: — И вы говорите это, вы — жалкое земноводное, вы — конторский писака! Вы так уверены в том, что все в мире отмерено и отрезано! Идите в океан, чтобы научиться удивлению, а не говорите, как отъявленный дурак. Можете ли вы сказать, куда девался Бьернсен? Нет! Слушайте же. — Мак-Корд сел и пригласил меня последовать его примеру.



II

Рассказ Мак-Корда

Несчастье случилось в первую же ночь после того, как мы приняли это проклятое судно. Шхуна, надо вам заметить, почти не нуждалась в управлении. Она повиновалась рулю с удивительной легкостью и быстротой. Пообедали мы тогда около семи вечера. В кладовой нашли много всякой провизии, а Бьернсен был не промах по этой части. И в других отношениях парень был неплохой. Принял он от меня штурвал до полуночи, а я отправился отдыхать. Но сон бежал от меня. Я мог слышать его шаги над головой, то удалявшиеся, то приближавшиеся. Я слышал, как он насвистывал какую-то песенку. Случайно я увидел тень его головы в пятне лунного света на пороге двери, ведущей на палубу...

Мак-Корд показал, где находилось лунное пятно.

Я мог видеть это пятно и отразившийся в нем силуэт головы с койки. Но продолжаю.

Я начинал уже засыпать, когда услышал шаги Бьернсена возле каюты и голос его, называвший меня шепотом.

— В чем дело? — спросил я.

— Бриз падает, — сказал он, заглядывая ко мне, — как с парусами?

Я был сонный и ответил, что меня это мало беспокоит.

— Хорошо, — заметил он, — только я думаю, что мог бы управиться с фортожедем.

Спустя мгновение я услышал как Бьернсен кого-то бранил. «Сволочь ты... Эта кошка не дает мне покоя, мистер Мак-Корд: ходит за мной по пятам»... Он дал пинка, и что-то желтое бесшумно скользнуло мимо меня в полосе лунного света. Вскоре я заснул, снилась мне всякая чепуха. Проснулся в поту. Вы знаете, Риджвэй, как рад бывает человек, проснувшись, стряхнуть с себя гнет кошмара. Прекрасно. Я встал, зажег спичку и взглянул на часы: без четверти

час! Я поспешно поднялся на мостик, но Бьернсена у штурвала не было.

Окликнул его: «Бьернсен! Бьернсен!» Молчание. Тогда я обошел всю палубу с кормы до носа; ни шороха, ни звука... Пядь за пядью осматривал я каждый уголок... Тот же результат! И вот я увидел желтую кошку, сидевшую на рулевом ящике. Первым моим движением было схватить и выбросить ее за борт, но я одумался и даже погладил животное по спине. Обыкновенные кошки отвечают на ласки довольным мурлыканьем, извиваются всем туловищем; эта же сидела совершенно спокойно, холодно фиксируя меня зеленоватыми зрачками. Убедившись, что Бьернсена нет, я вернулся сюда, в каюту, и совершенно разбитый нравственно и физически бросился на койку. Раза два я погружался в дремоту. Помню, что слышал какой-то шорох в кладовой, который после того, как я окликнул, умолк. Потом я повернулся на правый бок и стал смотреть на место, озаренное бледным светом луны.

Скажите, то был сон, что я увидел в нем? Я увидел, как слева в полосу лунного света начала постепенно выдвигаться тень хвоста. Когда последняя достигла середины, стала выползать и остальная часть силуэта, имевшая почему-то шаровидную форму...

Мак-Корд показал, как выглядела тень.

Бесшумно схватив револьвер и не сводя глаз с тени, я спустил ноги с койки. И, клянусь, я никогда не испытывал такого ужаса, какой овладел мною, когда тень превратилась в профиль человеческой головы... головы с длинной косой. Вы себе представить не можете, каким громовым эхом отдался мой выстрел в этой каюте! Я выскочил на палубу, и тень моя длинным, тонким изломом упала на палубу и внешнюю стену каюты. Ни звука, ни шороха в целом мире; только бледные, призрачные волны, уходившие назад, да паруса, словно крылья духов, поднимавшиеся к небу... И каждый предмет в этом ужасном, мертвенном освещении. Дальше, в тени парусов, скользила фигура человека в кимоно, какие обыкновенно носят китайцы.

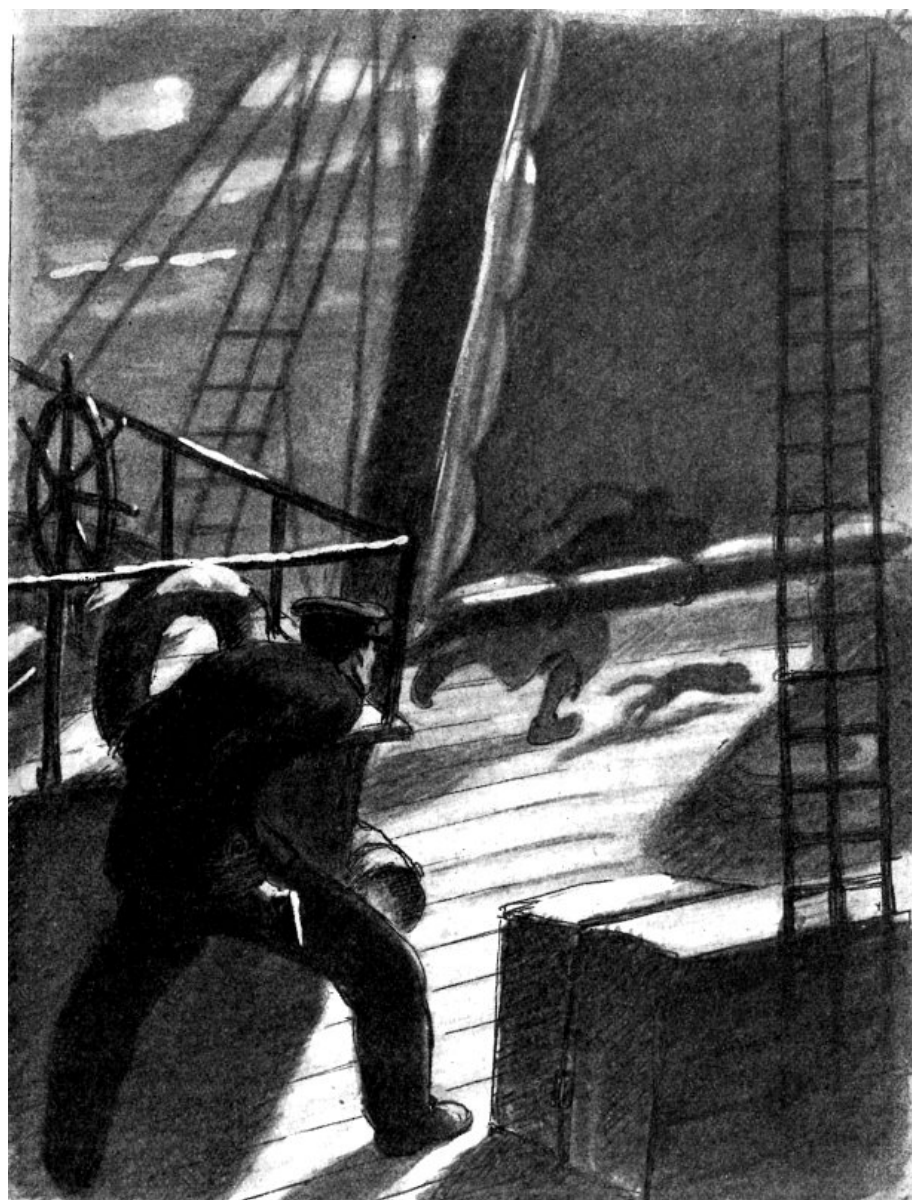
Я выстрелил снова, но промахнулся, потому что, когда дым рассеялся, на палубе никого не оказалось, я бросился к тому месту, где фигура исчезла, и нашел желтую кошку.



Она сидела на бугшприте, тщательно приглаживая лапками голову. Вид ее привел меня в бешенство. Я приставил дуло револьвера к ее голове и спустил курок. Осечка! Я говорю факт, Риджвэй. Это подействовало на меня отвратительно. Тогда она стала ходить за мной по пятам. Я не мог избавиться от нее. Я уселся на рулевом ящике. Она пришла и села напротив, не сводя с меня взгляда. И так просидели мы около часа, созерцая друг друга. Риджвэй, я знаю, что вы недоверчиво усмехнетесь, но, уверяю вас, внезапно она исчезла. Не знаю куда, как, но испарилась, как дым. И с тех пор я не видел ее...

— А китаец?.. — спросил я, заинтересовавшись рассказом...

— И его не видел. Но я думаю, смейтесь, если хотите, что кошка и китаец одно и то же...



III

Разгадка

Вдруг Мак-Корд поднялся, подошел к двери и прислушался.

— Слышите? — спросил он шепотом.

— Что? — таким же шепотом отвечал я.

— Кто-то ходит...

Я прислушался, в свою очередь: тишина. Прошло так несколько мгновений. Внезапно раздался легкий всплеск воды, словно кто-то бережно спустился в воду.

— Слышите?

Я подтвердил.

Мак-Корд похож был на больного. Глаза его сверкали отраженным светом висевшей над столом лампы, еще более подчеркивая сильное нервное возбуждение, овладевшее им. И вот напряженную тишину ночи прорезал дикий, отчаянный вопль, в котором слышался безнадежный ужас покинутого существа.

Он достиг самых высоких нот, сорвался и, медленно модулируя, звук сошел на низкий, мрачно-трагический басовый оттенок.

— Кошка! — вскрикнул Мак-Корд, выбегая из каюты. Я последовал за ним. Когда глаза привыкли к темноте, мы различили силуэты мачт, сложным узором снастей отражившиеся на фоне ночного неба, часть палубы и борта, обращенную к гавани. Еще немного и мы увидели бегавшую там взад и вперед и исторгавшую безумные вопли кошку; подле нее лежал какой-то темный, бесформенный предмет, который, когда мы подошли, оказался серым кимоно, китайскими туфлями, свертком с револьверами и какими-то бумагами, сваленными в одну кучу.

Спустя минуту мы уже снова сидели в каюте.

— Теперь мне все понятно, — со вздохом облегчения сказал Мак-Корд: — китаец все время находился на судне, и кошка была с ним, сознавая, что в человеке ее спасение...

Одного не пойму: почему из всего экипажа уцелел только один китаец и каким образом я не мог открыть его логовища? Что вы скажете, Риджвэй?

— Да, это странно... Затем, случай с Бьернсенем. Мне кажется, Мак-Корд, что он не упал, а был сброшен в море. Вы слушаете, Мак-Корд?

Но Мак-Корд не ответил: он спал.

Юрий Мандельштам

«КРАСНАЯ ГОЛГОФА»

Несколько месяцев назад, в «Возрождении» был помещен отзыв о первой — но уже посмертной — книге нашего соотечественника Валентина Франчича. Это был сборник очерков полуфилософского, полупублицистического порядка, выпущенный на французском языке. Последнее обстоятельство, равно как и несколько случайный отбор очерков, не давали возможности высказать об авторе определенное суждение. Ясно было, что безвременно погибший Франчич был человеком живого ума, и главное — немалого вкуса и культуры. Но был ли он писателем, в особенности, русским писателем — сказать было нельзя.

Сейчас, также на иностранном языке (на этот раз — немецком) вышел роман Франчича «Красная Голгофа»^{*}). По прочтении его, всякие сомнения отпадают и сожаление о том, что Франчич был неизвестен при жизни, значительно возрастает: он, конечно, был писателем подлинным и одаренным. Таланту его не удалось развиться — роман написан неровно, рукой явно неокрепшей, неуверенной. Приемы Франчича местами слишком по-ученически очевидны, местами не оправданы содержанием, сбивчивы. Построение не вполне связное, объективное повествование сбивается то на чисто документальное описание, то на психологическую исповедь. Чувства и мысли героев книги не всегда убедительны, разговоры их растянуты и занимают несоразмерно большое место. Но за всем этим, в романе ощущается живое творческое дыхание, серьезное внутреннее усилие и формальное своеобразие, которое, развившись, могло бы стать действительным мастерством.

Положительно надо ответить и на второй вопрос, возникший после выхода первой книги Франчича: он был несомненно русским писателем. По-видимому, роман не переведен, а написан непосредственно по-немецки, но по существу это дела не меняет: так писать может только русский человек, знающий русскую жизнь, воспитанный в лоне русской культуры. И не только содержание романа, дейст-

^{*} Valentin Frantschitsch. Das Rote Golgotha — Mulhouse, 1938.

вие которого происходит в России, создает это впечатление, а весь тон книги и сама писательская манера Франчи́ча. Главные герои его книги — русские интеллигенты до-революционного времени, спорящие о социальных проблемах и о том, прав ли был Иван Карамазов; Иван Муравин — писатель, посещающий петербургские литературные круги поры символизма. Две различных среды, но, по-видимому, Франчи́чу обе были отлично знакомы и по-своему близки. В отношении формы, литературного «ремесла» он, впрочем, ближе к Толстому, чем к Достоевскому или символистам. Толстовское влияние порой даже чересчур заметно, хотя бы в началах и концовках глав или в диалогах, невольно напоминающих «Войну и мир». Франчи́ч по Толстому учился тому, как пишутся романы, и не успел пробиться сквозь учебу к своему собственному стилю, к личной, неповторимой манере. Но сам выбор учителя и серьезность, с которой Франчи́ч перенимал у него не одни лишь внешние приемы, а и более глубокое отношение к изображению жизни — гарантия того, что Франчи́ч пробиться бы мог. Проблески авторского своеобразия в книге достаточно очевидны.

Заглавие романа — самое неудачное из того, что в нем есть — отчасти может ввести в заблуждение. По нему ясно, что в книге описана жизнь в советской России (точнее — первые революционные годы). Но отнюдь не ясен подход Франчи́ча к своей теме. Легко можно заключить, что он, вслед за многими, рисует нам революционные ужасы — террор, голод — все то, что в жизни было столь подлинной трагедией, а на бумаге часто превращается в неубедительную мелодраму. На самом деле Франчи́ч свой революционный, подсоветский опыт превратил в опыт прозрения в тайную сущность русской революции. Террор, обыски, голодовки — лишь фон его повествования, а истинное содержание, истинный ужас его — в том «омертвлении» души, в том призрачном изменении всей жизни, о коем свидетельствовали многие петербуржцы, присутствовавшие при страшной метаморфозе своего города. Роман Франчи́ча носит на себе печать революционного Петербурга, умирающего, став-

шего нереальным. В этой перемене облика столицы был не только ужас, но и свое очарование, некая возможность освобождения, духовного преображения, не раз отмеченная в литературе тех лет. Франчич к этой возможности очень чуток. Его картины советской жизни напоминают пронзительные стихи Осипа Мандельштама, может быть, лучшие стихи этого неровного поэта:

Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь,
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

В страшной советской ночи, в призрачном мертвом городе, Иван Муравин продолжает свою душевную жизнь. Он любит, сомневается, мучается и его любовь, сомнения, мучения, на фоне революции, приобретают особую значительность. Что приводит его к мысли о самоубийстве — личная драма, русская действительность или мировое неблагополучие? Как бы то ни было, он не умирает, а духовно преобразается. Слова «Бог, вера», бывшие для него ранее мертвыми, вдруг чудесно оживают — настолько, что он «заражает» ими большевика-матроса. Советский опыт для Муравина закончен — Франчичу остается, несколько неумело, заставить его перейти границу.

Наряду с этой основной темой книги, мелькают в ней и бытовые мотивы: многое ярко подмечено и запечатлено Франчичем; отметим хотя бы портреты старых большевиков-интеллигентов — Луначарского и Зиновьева. Но не эти отдельные находки составляют ценность романа, как и отдельные срывы не отвлекают от главного: от попытки извлечь из «страшных лет России» их тайный, онтологический смысл.

ПРИМЕЧАНИЯ

Валентин Альбинович Франчич родился в 1892 г. в семье переводчицы и драматурга Марии Германовны Франчич (1872-1954); его дед был участником восстания 1848 г. Дебютировал в литературе «Сборником стихотворений» (Ростов-на-Дону, 1910), однако еще до этого его мать пыталась заинтересовать стихотворениями сына различных литераторов, в частности, В. Короленко. С 1913 г. публиковался в петроградских журналах – «Аргус», «Солнце России», «Всемирная панорама», «XX век» и др., написал также – один и в соавторстве – несколько фарсов. Участвовал как офицер в Гражданской войне, с 1919 г. – в эмиграции. Умер в Париже 16 апреля 1937 г. Посмертно изданы сборник эссе (на французском яз.), роман «Красная Голгофа» (на немецком яз., 1938).

Все приведенные в книге тексты публикуются по первоизданиям с исправлением некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации и очевидных опечаток. Иллюстрации ко всем рассказам принадлежат С. Лодыгину, за исключением «Желтой кошки», иллюстрированной Ф. Коварским.

Бесшумно скользят виденья...

Впервые: *Всемирная панорама*, 1914, № 262-17, 25 апреля, под загл. «Воспоминание».

Машина мудрости

Впервые: *XX век*, 1916, № 18.

Лучи смерти

Публикуется по: *Всемирная панорама*, 1916, № 376-27, 31 июня.

С. 22. *Через несколько минут толстяк...* – В оригинале явная опечатка: «холостяк», очевидно, вызванная ошибочным прочтением рукописи при наборе.

С. 23. *...prix-fixe* – Здесь: на любой вкус (букв.: «меню по единой цене», *фр.*).

Стась-горбун

Впервые: *Аргус*, 1915, № 5.

Приключение Бермутова

Впервые: *Аргус*, 1914, № 18.

Безумный лама

Публикуется по: *Всемирная панорама*, 1914, № 250-5.

Маленький Нгури

Впервые: *Аргус*, 1913, № 11.

Лицо предка

Публикуется по: *Всемирная панорама*, 1915, № 346-49, 3 декабря.

С. 100. ...*corpus delicti* – состав преступления, совокупность улик (лат.).

С. 104. «Александр Македонский убивает царедворца Клита» – Речь идет о т. наз. «Клите Черном», военачальнике и друге Александра, который был убит царем в пьяной ссоре в 328 г.

Колесница дьявола

Впервые: XX век, 1917, № 23.

У. Стил. Желтая кошка

Рассказ популярного американского беллетриста и драматурга Уилбура Д. Стила «*The Yellow Cat*» был впервые напечатан в *Harpers Monthly* в марте 1915 г. Русский текст впервые – *Аргус*, 1916, № 8 (без имени автора). Мы публикуем здесь этот текст, т.к. это в сущности не перевод, а радикальная переработка рассказа Стила.

Ю. Мандельштам. «Красная Голгофа»

Впервые: *Возрождение* (Париж), 1939, № 4167, 20 января, за подписью «Ю. М.».

Ю. В. Мандельштам (1908-1943) – филолог, поэт, критик, автор ряда изданных в эмиграции поэтич. сборников и др. книг. Погиб в Освенциме.

С. 125. *Мне не надо пропуска ночного* – Цит. стихотворение О. Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова...» (1920), вошедшее в сб. «*Tristia*» (1922).

Оглавление

Машина мудрости	7
Лучи смерти	15
Стась-горбун	30
Приключение Бермутова	44
Безумный лама	63
Маленький Нгури	77
Лицо предка	93
Колесница дьявола	105
Приложения	
У. Стил. Желтая кошка	110
Ю. Мандельштам. «Красная Голгофа»	122
П р и м е ч а н и я	126

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.